

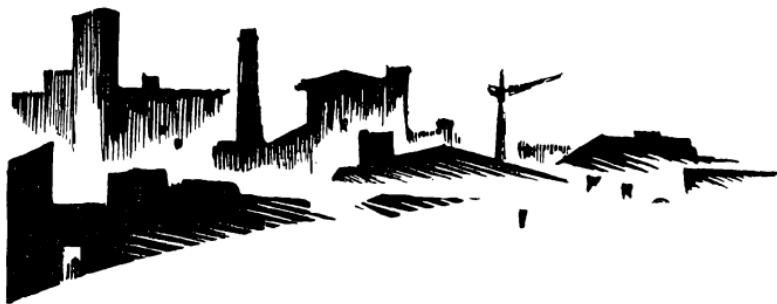
О ПОПЦОВ



ОБЖАЛОВАНИЮ  
НЕ  
ПОДЛЕЖИТ



Олег ПОПЦОВ



ОБЖАЛОВАНИЮ  
НЕ  
ПОДЛЕЖИТ

*Повесть*

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» МОСКВА — 1972

Повесть «Обжалованию не подлежит» — первая повесть Олега Попцова. Она рассказывает о самом трудном экзамене, который предстоит выдержать каждому в жизни,— экзамене на человеческое достоинство.

Олег Попцов известен читателю, как автор публицистических выступлений, рассказов, которые печатались в журналах «Смена», «Молодой коммунист», «Сельская молодежь».

Для детей старшего школьного  
возраста и юношества

Олег Максимович Попцов

## ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Редактор М. Долотцева

Художник И. Данилевич

Художественный редактор Е. Ельская

Технический редактор И. Капитонова

Корректор З. Росаткевич

Сдано в произв. 11/XI-71 г. Подп. к печ. 10/IV-72 г.  
Формат бум. 70×108<sup>1/32</sup>. Физ. печ. л. 6,0. Усл. печ. л.  
8,40. Уч.-изд. л. 8,12. Изд. инд. ЛД-247. А03066. Тираж:  
50 000 экз. Цена 34 коп. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд  
Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглагополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25.  
Заказ № 2801.

— Пожалуй, все! — Капитан рассеянно потрогал переносицу... — Проверьте документы. Паспорт, характеристика, трудовая справка. Остальное получите там, — капитан еле заметно кивнул, словно «там» уже началось за пределами его комнаты. — Н-да...

«Все» — завидная лаконичность, способная вобрать в себя воистину необъятное. И то, что было, есть и, наверное, будет.

— Все, — одними губами повторяет Николай. — Все кончено. — Он произносил это слово тысячи раз, и ничто не мешало понять и ощутить его. И вот теперь, может быть, в тысяча первый раз он не в состоянии принять это слово, как что-то однозначное. Оно еще не успело обрести своего места в сознании, как костяной бильярдный шар, что вдруг вылетел на каменный пол и покатился с грохотом неведомо куда.

— Сейчас принесут ваши вещи, — чуть растягивая слова, заметил капитан.

— Да стоит ли?

— Стоит не стоит, уже другой вопрос. Принесут...

Вот так....— Глупое состояние. Капитан суетливо вынул из кожаного портсигара сигарету.— Закурите?

— Нет, спасибо.

— Чего же мы стоим? Присядем на дорогу. Вроде положено.

Николай посмотрел на капитана, деревянный с протертymi кругами диван, на который им придется присесть, согласно качнул головой...

— Присядем.

— Понимаю, глупо,— не унимался капитан.— А все равно свербит в груди. По сути, радоваться надо... Человек на свободу выходит. А мне жаль. Вас тут долго помнить будут... Н-да... Ну, а нам, видать...— Капитан не договорил. В дверь постучали.— Войдите.

— Разрешите, гражданин начальник.

— Заходи, заходи, Рытов. Поставь здесь. Ну вот и веши. Спасибо, Рытов. Идите, вы свободны...

Капитан встал, решительно затушил недокуренную сигарету, мельком глянул на замявшегося Рытова:

— Ну что еще? Я же сказал, вы свободны.

— Понятно, гражданин капитан. Там ребята проститься желают.

— А, вот в чем дело. Хм. Ладно, сейчас товарищ Климов переоденется и тогда... Тогда проститесь.

— Товарищ,— сокрушенно качнул головой Рытов и вдруг заулыбался.

Капитан удивленно поднял брови:

— Что это ты засветился, как на пасху?

— Товарищ,— с сожалением еще раз повторил Рытов.— Слово больно хорошее, гражданин начальник. Дух от него теплый. Заскучал я по нему.

— Ишь ты, заскучал,— передразнил капитан.— На-ка вот, закури.

Николай наскоро переоделся в пахнущий плесенью

кладовки костюм. Испуганно глянул на себя в обгоревшее по краям зеркало, что невпопад примостилось на стене. Удивился незнакомому отражению, тем не менее подмигнул ему и снова шагнул в комнату.

Капитан стоял спиной к нему, широко расставив ноги, отчего расфлаженные галифе еще больше напоминали разорванную букву «Ф».

— Переоделись,— не оборачиваясь, уточнил капитан.

— Похоже, что да.

— Тогда пошли.

Николай непривычно одернул пиджак, подхватил не в меру легкий чемодан, еще раз второпях оглядел кабинет, ставший за эти два года настолько знакомым, что даже стул, поставленный чуть наискосок, или попросту, другой стороной, вызывал недоумение...

— Нет, все так, как и прежде, может, только kleem пахнет больше обычного, а в остальном неизменно.— Усмехнулся, вздохнул и двинулся за уже маячившей в просвете коридора портупеистой и скрипучей спиной капитана.

Их было не так много, восемь человек. Они сгрудились у проходной и сейчас, словно стыдясь своего чувства, бормотали какие-то невразумительные слова, второпях оставляли что-нибудь на память, порывались обнять.

Он тоже что-то отвечал и тоже не очень складно.

Еще час назад Николай ничего не знал. Привычное «Климов, к начальнику» могло в лучшем случае вызвать веселую реплику окружающих.

Однако час общепринятого времени истекал, и с каждой новой минутой промежуточное «все» поднималось перед его глазами в полный рост. И все-таки Николай боялся верить в очевидность происходящего, и, может, поэтому люди, их улыбки, шутки некстати проплывали мимо него, как если бы поводом их прихода сюда был не он, а кто-то другой.

Ребята еще какое-то время тормошили его, затем разом расступились и той же нескладной ватагой двинулись к девятому корпусу. Климов и капитан остались одни.

— Смотри и не верю,— покачал головой капитан.— Вроде бы других людей знал. С лица вот похожи, а не те... Ну что же, Николай Петрович, разводить сантименты не мужское дело. Говорить же общепринятые слова «приезжайте», «заходите», «не забывайте нас» в моем положении дело скорее курьезное, чем привычное,— капитан щелкнул по козырьку, фуражка отскочила на затылок.— В такие места не приглашают, да и хранить их в памяти большого резона нет... Так что прощайте, товарищ Климов, Николай Петрович. Прощайте. Будет время, может, пару строк черкнете, и на том спасибо. Где, как устроились. В городе окажусь, непременно заеду... Не выгоните?

— Все шутите, товарищ капитан...

— Да как тебе сказать. Шучу, но только наполовину.  
Прощай.

— Будьте здоровы, капитан.

— Эгм, будем...

\* \* \*

Он так и шел, не обрачиваясь, до самой деревни. И хотя время стояло горячее — сенокос, и деревня по той причине была немноголюдной, Николай решил обойти ее стороной. Дорога щмыгнула за косогор. Здесь в тени притомленных зноем тополей было прохладно. Остановился у ручья, присел на корточки. От разнотравья тянуло огуречным запахом. Глянул в воду: в белесом от промытого песка дне шебуршился родничок. Опустил руки, почувствовал внезапную ломоту в пальцах и, может быть, первый раз по-настоящему понял — все кончено... и желание

оглянуться назад и многое-многое вспомнить вдруг захлестнуло его...

— Как же это все-таки много, два года,— подумал Николай вслух.— Семьсот тридцать дней.

Он научился считать эти дни. 23.00-отбой. С завидной аккуратностью он доставал серую сафьяновую книжечку, и в ней появлялась еще одна черточка — пунктир в пол-сантиметра величиной. Она завершала или начинала новый квадрат. Их скопилось достаточно этих самых квадратиков, слепых и воздушных. Сто восемьдесят пять полных и один штрих в придачу. Со стороны это было похоже на игру в морской бой. Есть такая игра. Теперь ему придется привыкать к неделям. Он посмотрел в воду, заметил свое отражение в ней. Вместо глаз у отражения были темные провалы.

«Неужели это я?» И хотя отражение не высказало никаких соображений на этот счет, он усмехнулся, погладил воду. Отражение исчезло.

А дальше? Теперь ему надо подумать, что будет дальше. Сначала будут жалеть его самолюбие. И говорить будут о чем угодно, только не о том, что было там. Точно этого «там» вообще не было. Потом привыкнут. А может, он и сам расскажет. Нет, сам не расскажет. Вот если бы Лешка...

\* \* \*

— Значит, все по порядку...

— Да уж как сумеете.

— Это вы верно сказали.

Иногда мы даже не подозревали, что пережитое тобой вдруг оказывается сильнее тебя. Неловко вспоминать, трудно вспоминать, не хочется оглядываться назад. И что тому виной, годы? Их было не так много — всего три...

Люди? Они и прежде мелькали в этой круговерти, где и тебе место, и мне место, и ему. Значит, жизнь. Нелепое сочетание — жизнь удивляет жизнь.

Как бы сказал Сашка: «Слишком много событий на один квадратный метр души».

В нашей истории будет все. Город, не слишком крупный, чтобы называться столицей республики, но достаточно значительный, чтобы не прослыть дремучей провинцией. Континентальный климат, согласно учебнику географии предполагающий суровую зиму и чрезвычайно жаркое лето. Факт в моем повествовании отнюдь не второстепенный. Строители, по нынешним временам их никогда не бывает мало... Оно и понятно, мы впереди. Большой потрепанный автобус марки «ЗИЛ» с расхлябанными рессорами. А еще буду я. Зовут меня Алексеем Федоровичем, четверо моих друзей и... Всякий круг следует замкнуть, иначе — поставить точку. Была она. Однако все по порядку.

Город у нас приметный. Хороший город. Плохих городов не бывает, если ты в них живешь. Мы строители. Где-то через год, два будет иначе. Однако на данном отрезке времени это именно так. Строим мы все и в прямом и в переносном смысле. И физику строим, и химию строим, и по жилью план... Уважаемая профессия.

Каждое утро нас возят на работу. Именно возят. Автобус рейсовый, но как по спецзаказу. Подъезжает утром к нашему жилмассиву, загружается и везет прямо на стройплощадку, без остановок, через весь город.

Бывало, садишься с одним желанием додремать — встаем рано, а тут сорок минут езды. Только все впустую. Галдеж, ругань, споры. И откуда берется, еще и семи нет. Гвалт невероятный. Тут тебе и про политику, и про спорт, и про плащи «болонья», и про Фан Линь — женщину-пирата (одно время тоже модная была тема) — в общем, обо всем, как в хорошей очереди. Сна мигом ни в одном глазу,

какой сон. Сам того не заметишь, а уже наравне со всеми глотку дерешь: «Дескать, Евтушенко это не то. А вот Смеляков. Смеляков — это да!» И так каждое утро. Рейс туда. День работаем, а вечером обратно тем же автобусом. Разнообразие невелико. Зато скорость. Впрочем, автобус мелочь. И говорить о нем вряд ли стоит. Просто все с чего-то начинается... У каждого человека есть настоящее. Существуют вехи настоящего, его атрибуты, привычки.

Ну, а прошлое? Прошлое тоже было. Без прошлого нельзя, несовременно.

Ректор нашего института, Пал Палыч Хлебников любил на этот счет говорить: «Прошлое, батенька, фундамент человека, его прелюдия. Даже у чеховской Каштанки есть прошлое. А вы пожимаете плечами. Так, значит, чем вы занимались ранее?»

Конечно, Пал Палыч оригинал, но тем не менее несколько слов о прошлом.

Итак, кто есть кто?

Легче рассказать о каждом из нас в отдельности. Об этом непременно следует рассказать. И хотя очевиден закон первоочередности частного перед общим, я все-таки рискну заметить. Сначала были мы. Кто-то из нас на стройке появился первым. А впрочем, какая разница, первым, вторым, десятым, двадцатым. Мы оказались вместе. А когда оказываются вместе пять незнакомых ранее людей, честное слово, их больше интересует не то, что было до, а то, что есть и будет после.

В отдел кадров я пришел рано утром. Хотелось как можно скорее определиться, а уже потом думать, что и как. В двух прокуренных вдоль и попоперек комнатах собралось предостаточно народу. Когда я вошел, люди о чем-то спорили, и, судя по злым репликам, назревал откровенный скандал. Время от времени фанерная дверь открывалась, на пороге появлялся кряжистый мужик, поднимал

руку и что-то выкрикивал в лица впереди стоящим и снова уходил.

Что кричал мужик, почему ожидающие от его слов возбуждались еще больше, понять было попросту невозможно: стоял невообразимый шум. Люди буквально вязли в этой норазберихе. Мне сразу расхотелось торопиться с оформлением. Я отошел в сторону и стал исподволь разглядывать моих будущих однокашников. Трое парней (они выделялись в этой кутерьме) стояли у самой стены, равнозначно реагировали на выкрики, и, как мне показалось, им было достаточно наплевать на все происходящее.

Опять распахнулась дребезжащая дверь, и уже какая-то женщина выкрикнула:

— Кто здесь Максимов?

По некоторым признакам Максимовым был я, и мне ничего не оставалось, как привстать па цыпочки и тоже крикнуть:

— Я Максимов.

— Зайдите к начальнику отдела кадров. Товарищи, пропустите Максимова.

Товарищи, как и следовало ожидать, не шелохнулись. Затея начальника отдела кадров не показалась мне удачной. Право, он мог быть остроумнее. Было неловко и душно пробираться сквозь этот гвалт, тяжелый запах нестираной одежды и дешевых папирос. Я не прошел еще и десяти шагов, как передо мной выросла квадратная спина рыжеволосого парня с флегматичным затылком.

— Разрешите, меня вызывают.

— Еще чего, тебе, может, и табаку отсыпать?

— Меня вызывают, — повторил я раздраженно.

— Ничего, погодишь. Ишь, реэвый какой.

Рыжеволосый мельком глянул в мою сторону и также быстро повернулся ко мне спиной.

Кругом беззлобно засмеялись.

— Алло, дорогой, ты что не слышал?

Требование выглядело достаточно настойчивым, парень выругался и в упор посмотрел на говорившего.

— Ну, чего мозолишь?

— Человека пропусти.

Я узнал троих ребят. Они минуту назад стояли у стены. Тот, что вел разговор, был выше других и, видимо, чувствовал себя увереннее.

— Ты кто такой, чтоб указывать?

— Это мое дело, пропусти.

— Кто такой, спрашиваю?

— Ну коли спрашиваешь, отвечу. Представитель, надеюсь, понятно?

— Так бы и говорил.

Парень нехотя подвинулся, вместе с ним подвинулись соседи, и я без труда добрался до фанерной двери.

Так мы познакомились. Уже на улице, отвечая на цепкие рукопожатия, я осторожно спросил.

— Николай, а вы кого представляете здесь?

— Мы?

Он неуверенно дернул плечами, виновато улыбнулся.

— Человечество. Сознательное большинство планеты.

Если откровенно, мне везет на друзей. Дай бог, не слазить, постучим по дереву. Ну вот, другой разговор.

Эти парни были ужасно похожи друг на друга. Странная похожесть. И лица разные, да и вся внешность куда как несхожа. Взять, к примеру, Николая. Высок, лицо открытое. Плечи чуть угловатые, зато силу чувствуешь. Встретишь и невольно подумаешь: «Везет же людям, все на месте, все ладное...» Голос у Николая низкий. Глаза — статья иная. Серые, со стальным отливом глаза. И выражение у этих глаз было какое-то особое, словно человек

тебя на разговор вызывает: дескать, давай, чего молчишь. Один черт, мне все известно. Есть такое чувство — врожденной определенности, Николай им обладал. Он и улыбался так и сёрдился так — до конца и бескомпромиссно.

Был с Николаем случай. Уже к весне следующего года мы все настроились поступать в институт. Идею подал Николай. А почему бы нет, говорит. Разве в стране избыток талантливых строителей или наше рабоче-крестьянское прошлое у кого-то вызывает сомнение. Рекомендую ознакомиться — условия приема. И мы решили поступать. Попали в один поток. Конкурс — шесть человек на место. Кругом зудят: у вас льготы, у вас преимущества, рабочий стаж, стройка и прочее такое. Получается, что вроде как нам готовы простить нашу неполнценность. Скверное настроение.

Николай сдавал лучше других. Думали, что ему везет. Немного завидовали. Когда кто-то лучше тебя, самолюбию всегда неуютно. Над причинами голову не ломали, окрестили зубрилой. И проще, и спокойнее. Худо-бедно, но экзамены подходили к концу. Осталось сдать математику и... «мама, я хочу домой». Состояние паническое. Всю ночь пишем шпаргалки. Мы пишем, а он читает Чехова. Это раздражает. Тригонометрия — его конек. Но все равно раздражает. Утром Николай пошел первым. Осечки никто не ожидал. Сначала было злорадство, потом ирония, ну, а потом беспокойство. Полтора часа у доски — трудно, даже если ты очень волевой человек. Все равно трудно. Лично я бы давно положил билет. Во время признать свою слабость — это тоже сила. А он не положил.

Нет. Внезапно повернулся к комиссии, очень старательно вытер руки и слишком громко для такой аудитории сказал: «Мы не каждый день сдаем экзамены в институт. Наверное, склонны преувеличивать. Может, так и должно быть, я не знаю. Мне дали недоказуемое тождество. Глупо,

торчу у доски целый час, а оказывается... В общем, я прошу разрешения сдать экзамены другому преподавателю».

Стоящие у доски опешили, ожидающие за дверью замерли. И те, и другие разинули рты.

Математику Николай сдавал через два дня.

Экзаменационную комиссию возглавлял проректор института. Болеть пришли всей группой. Все кончилось благополучно. На кафедре математики Николая запомнили. Странный он человек, Николай. Сашка его так и окрестил: «Ты самый не как все». Давать прозвища — Сашкина слабость. Когда вспоминаешь Сашку, всегда хочется сказать что-то ласковое. Почему так? Длинный, нескладный с тонким лицом и аккуратными руками человек. Волосы у Сашки белесые. Ходит Сашка какой-то обстоятельной походкой, словно на каждом шагу делает ударения. У Сашки добрые глаза, но самым примечательным у Александра Петровича Губарева был и остается нос. Крупный. тевтонский нос. Он занимает пол-лица и тогда кажется, что Сашкин нос живет своей, особой жизнью. Неожиданно нос начинает белеть, отчего переносица делается матовой и прозрачной. Следует понимать, что Александр Петрович зол. Розовеющий нос — свидетельство состояния благодушного и спокойного. К вечеру нос делается безразличным и уже не выглядит столь волевым. Верный признак, что кому-то из нас пора зевнуть и сказать: «Давайте спать». Сашка есть прямое следствие миграции сельской молодежи в крупные промышленные центры страны. Несколько научнообразно, но верно.

У Сашки есть мама, которая раз в квартал присыпает единственному сыну аппетитные посылки, и две сестры, которые посылок не присыпают, но письма пишут регулярно. Сашка немножко заикается. Это с детства. Когда Сашке было пять лет, он заблудился в пещере.

Сашка наивен. Так ли это на самом деле, кто знает. Каждый из нас не лишен странностей. Сашка не верит в зло. Качество, по нынешним временам, прямо скажем, редкое. Обманул человек — не может быть. Обидел — ребята, здесь что-то не так...

Однажды Сашку обокрали. Скарб невелик. Плащ, бритвенный прибор, ботинки и двадцать рублей денег. Сашка был очень удивлен случившимся, но заявлять в милицию отказался.

В историю вмешался Димка.

— Нечего потакать разной сволочи,— сказал Димка и привел милиционера с собакой.

Милиционер по-хозяйски расположился в комнате. Вынул какие-то бумаги и спросил, кто поставил. Сашка пожал плечами и сказал, что поставил здесь нет. Получилось совсем нехорошо. Будто бы Димка от чего-то делать вызвал сотрудника со служебной собакой. Милиционер так и заявил, что он составит акт и привлечет Димку по статье за хулиганство и оскорблении сотрудника милиции при исполнении служебных обязанностей.

— Узнаешь почем дрова, ядрен корень,— сказал старшина и так хлопнул дверью, что Рольф, здоровенный пес, то ли с перепугу, то ли по долгу службы стал громко лаять и перепугал все общежитие.

Димка тоже озлобился и тоже хлопнул дверью. Но при этом сказал, что Сашка провинциальный Иисус. Получиласьссора. Днями позже мы спросили Сашку, почему он сказал, что вещи нашлись. Сашка почесал всезнающий нос и очень тихо ответил:

— Украдь мои вещи мог человек только очень нуждающийся. Я не банкир, у меня нет драгоценностей. Собака найдет вора. Его посадят. За что? За этот ветхий плащ, стоптанные ботинки.

— Завтра вор украдет еще что-нибудь,

— Нет, Леша. Думаешь, ему не известно, что я сказал милиционеру?

— Не знаю. Какое это имеет значение?

— А разве нельзя наказать добром?

— Неужели это все серьезно, Сашка?

Сашка глянул куда-то мимо меня, наверно что-то вспомнил.

— Удивительное дело — добра всегда не хватает. Зла может самая капля и все равно сверх меры. А с добром иначе. Вот я и думаю. Может, мое добро совсем никудышное, с мизинец, но оно добро, и я в него верю. А это уже кое-что.

Самое невероятное, что плащ, ботинки и бритвенный прибор, аккуратно завернутые в газету, Сашка через неделю обнаружил в своей комнате. Денег, правда, не было. Сашка развернул вещи, хитро усмехнулся и сказал:

— Еще один раз надо простить, и уж тогда он будет возвращать все полностью.

С Димкой проще, Димка местный. Димка — единственный из нас, кто на вопрос, откуда он приехал на стройку, может лишь пожать плечами.

Димка на стройку пришел. После выпускного вечера, где Димке вручили аттестат зрелости, он некоторое время пребывал в состоянии общей растерянности, словно никак не мог привыкнуть к неизбежности наступивших дней. Его сверстники готовились к поступлению в институт. Проходили какие-то нескончаемые медицинские комиссии, уточняли адреса военных училищ, короче, находились в том суетливом движении, после которого наступает либо полный хаос, либо безразличное спокойствие. То, что Димка не собирался поступать в институт и карьера кадрового офицера не казалась ему заманчивой, делала Димку в понимании окружающих человеком странным. Димка бродил по улицам, на которых почти не встречал одно-

кашников. Иные уехали, иные засели за книги по-настоящему, ну, а прочих оставалось так мало, что встречались они чрезвычайно редко.

Год повертелся без постоянного дела. Работал лаборантом, курьером, три месяца даже тренером в школе торгового ученичества, откуда был выдворен в силу профессиональной непригодности. Ну, а когда пришла повестка из военкомата, скорее, обрадовался ей, чем склонен был вкупе с родителями сокрушаться на этот счет и жаловаться на несправедливость молодой судьбы.

В армии служил легко. Попал в танковые части. Была даже задумка остаться на сверхсрочную. Посоветоваться было не с кем, может, потому и передумал... Вернулся домой. Неделю ходил в армейской форме. Привык. С сожалением поглядывал на золотую трехполосицу сержантских погон, вздыхал и откровенно не знал, как распорядиться самим собой. Димка тяжело расставался с собственными привычками. Про стройку он узнал случайно — в магазине. Вечером пакостно прикинул, что взять с собой, и, распрошавшись с родителями в коротком письме, не поднимая лишнего шума, ушел из дома. Уже на второй станции Димку ссадили с поезда, как безбилетника. Штраф оказался суровым испытанием Димкиной кредитоспособности. Он аккуратно расписался в ведомости, на всякий случай дружелюбно улыбнулся сотруднику железнодорожной милиции и без ложного пафоса отшагал сорок километров пешком. Так Димка появился на стройке. Начальник отдела кадров, узнав о Димкиных злоключениях покачал головой: «Ишь ты, не перевелись, значит, Ломоносовы».

— Не перевелись, — согласился Димка и пошел устраиваться в общежитие.

Лицо у Димки спокойное. Манера говорить отрывистая. Димка вспыльчив и по этой причине доставляет нам массу неприятностей. Человеку с такими данными нельзя

быть вспыльчивым. Еще с армии Димка пристрастился к боксу. Имея общий вес восемьдесят семь полноценных килограммов, Дима мог бы быть более осторожным в выборе собственных увлечений. Однако этого не произошло, и нам приходилось время от времени вспоминать, что Дмитрий Севастьянович Стуриков — это человек твердых принципов. Дима пьет только рижское пиво, а из эстрадных певиц предпочитает Эдиту Пьеху. Отношение к окружающей жизни у Димки сугубо индифферентно. Все люди в Димкином понимании делятся на людей тип-топ и клюкву. Например, Игин — заместитель начальника стройки, мужик тип-топ, а вот Гена Вергин, он же местный поэт — «клюква», и его стихи — тоже «клюква». И вообще все арматурщики — лажистые ребята. Или родители. Дима считает, что с родителями у него прокол. Вернее, даже не так. С родителями все в порядке. Но Дима почему-то уверен, должно быть иначе. Димин отец инкассатор, а мать — акушерка. Ну и что?

— Как — ну и что? — возмущается Дима.— Не профессия, а сплошной насморк. Ну мать еще куда ни шло, но отец. Здоровый, красивый — два ордена Славы имеет и вдруг — инкассатор.

Вот такие пироги. Димкой рассказ о нашем прошлом не кончается. Был еще Сергей. Впрочем, и я сам — лицо действующее. Однако говорить о себе не всегда удобно. Приезжал к нам недавно корреспондент из одной газеты. Беснушчатый парень, с красными, словно только что с мороза, руками. Парень носил темные очки и вельветовую кепку. Были такие граffленые кепки, вроде как из шифера. Интересовался корреспондент сетевыми графиками. Весь день пропадал на стройке, лез, куда не положено, а вечером приходил в общежитие, простуженно смеялся, рассказывал веселые истории и пил пиво. Может, все то, о чем говорил корреспондент, и было правдой. Чему-то мы вери-

ли, в чем-то сомневались. Рассказчиком корреспондент оказался отменным, слушали его с охотой. Корреспондент ногой открывал дверь и прямо с порога заявлял:

— Подумал я, уважаемые граждане, роман написать. И представьте себе, написал. Все, что было дальше, можно упустить, однако конец этой истории мне запомнился. Прочел мой роман редактор, перстом строгим лоб поскоблил и говорит: «Роман и в самом деле читать можно. Только вот беда. Героев много. Я, братец, в этой ярмарке совсем запутался. Сократить тебе героев нужно. Раза в три сократить».

Я в амбицию.

— Простите, — говорю, — а как же у Толстого Льва Николаевича.

— У Толстого, братец, хорошо. А у тебя плохо. Сократи, не упорствуй.

Что делать? Беру роман и начинаю своих героев натурально вычеркивать. Дней через десять приношу.

— Вот, — говорю, — сократил...

Полистал редактор труд окаянный и начинает ахать.

— Да ты в своем уме. Ты не тех сократил. Не валяй дурака. Этих восстанови, ну, а прочих, которых пожалел, сократи.

Я уж и главному про вычеркнутых рассказал.

— Восстанови, не упорствуй.

Мораль: один ум — хорошо, три — хуже. Берегите героев, братцы. Они — наш нравственный капитал.

Конечно, о Сергееве возможно рассказать позже или вообще не рассказывать. Но тогда все, что было, перестанет существовать как случившееся однажды и в самом деле.

Сергей. Для каждого из нас он был человеком на расстоянии. Удивительная способность сохранять дистанцию. В Сергееве сочетается несочетаемое. Его высокомерие было настолько явным, словно он носил его на вытянутых ру-

ках, прямо перед собой. Получалось так, что сначала люди сталкивались с его высокомерием, а уже затем замечали самого Сергея. Он был душой компании, а точнее, он мог быть душой компании. Сергей играл на гитаре. Мое музыкальное образование оставляет желать лучшего. Понимающие люди, я был тому свидетель, жмурились от удовольствия и бормотали:

— Как же хорошо. Нет, вы только послушайте.

В самом деле, стоило Сережке взять гитару — и нет Сережкиных пороков. Девчонки без ума.

— Сереженька, еще одну.

— Устал, баста...

— Ну, Сереженька, ну, миленький, что-нибудь такое, чтоб душу...

Сережка вскидывает гриф гитары, делает какой-то фантастический перебор и, аккуратно положив свои пушистые ресницы таким образом, что тень от них закрывает добрую половину лица, уступает. Глаз не видно, их блеск только угадывается. И голоса не слышно, будто бы поет кто-то далеко-далеко, а сюда лишь доносится эхо. Кругом все цепенеет от восторга, а Сережка только этого и ждет. Сейчас он резанет по тишине с такой силой и откровением, что комната, люди в ней, дым табачный, стулья, кровати и прочая утварь разом вздрогнут и пойдут куралесить под взвинченную мелодию цыганщины.

А мы? Что мы? Мы тоже люди, сбиваемся в душный круг и крякаем от удовольствия.

— Давай, Сережа! Вали, Сережа!

«Цыганка молодая, где ночь ты провела...»

И все-таки Сережка — человек в себе. Мы уже вон сколько знакомы. А знаем всего ничего. Жил на Урале, там и школу кончил. Год или два ходил с геологами. И вот теперь здесь. Негусто. Как жил, какая экспедиция, почему здесь. Вон сколько вопросов. Каждого из нас что-то при-

вело на эту стройку. Меня и Сашку — романтика. Банально, но справедливо. Димка не знал куда себя деть и вот приехал. Николая — мечта. Быть строителем можно где угодно. Дорога не заказана. Николай отрубил — нет. Только здесь. Когда я спросил об этом Сережку, он сощурился, потер переносицу и вдруг сказал:

— А почему бы нет?

Странная формула.

У Сережки есть родичи. Открытие немаловажное. Живут они в Свердловске. Отца у Сережки нет, есть отчим. Человек, судя по всему, состоятельный. Каждый месяц Тельпугову приходит денежный перевод. Добрую неделю извещение валяется на комендантском столе. Кто ни пройдет, все интересуются. На день по три раза Сережке напоминают:

— Тельпугов, тебе перевод. Пляши.

Но Сережка почему-то не пляшет. Он спускается вниз и смахивает извещение в ящик стола. «Так лучше», — говорит Сережка и уходит заниматься своими делами. Продолжает еще неделя.

Наконец кому-то это надоедает, и с почты является человек: дескать, пора узнать, кто такой Тельпугов и долго ли он намерен валять дурака. Оказывается, Тельпугов живет здесь и деньги получать не настроен.

— Ненормальные люди, — говорит человек, — зажрались.

И с этими словами человек уходит. Перевод отсылают обратно. А на следующий месяц все повторяется сначала.

Почему Сережка поступает именно так? Поза, принципы, обида — догадок может существовать сколько угодно. Толком не знает никто.

— Б...б...благородных к...кровей т...товарищ. Инте...л-лигент.

Это, конечно, Сашка. Нелестный итог наших сомнений.

Прошло много времени. И все, чему положено случиться, уже случилось. Однако и по сей день Сережка для меня человек странный. Бывает же такое. Смотришь на человека, а видишь лишь контуры, силуэт.

Ну, и наконец я. Говорить о себе наивно, да и говорить-то нечего.

Я пятый. Зовут меня Лешка, точнее, Алексей Федорович. Отец погиб. Война. Этим не удивишь. Мама жива. Ей сейчас 67 лет. Мама — историк-международник. Она до сих пор выступает с лекциями. Лично меня мама считает неудачником, но я на нее не обижаюсь. Просто мама немножко консерватор и убеждена, что «они» в наши годы были лучше. Почему-то многих это возмущает. А меня нет. В таком возрасте люди больше живут прошлым, чем настоящим и тем более будущим. Прошлое для них — вся жизнь. А кому же хочется, чтобы твоя жизнь считалась неудавшейся.

Почему я на стройке? Легче всего сказать — романтика. Аргумент сомнительный, но сейчас в моде. А если откровенно, то все получилось не очень серьезно. Жила девчонка по имени Светка, и жил мальчишке по имени — я. Это случается обязательно. Вдруг мальчишке показалось, что он влюблен. И не как-нибудь, а только окончательно и бесповоротно. Девчонка фыркала, когда встречала курносого мальчишку. А мальчишка, вобрав в себя тысячу обид, где-то наедине с собой придумывал месть всему девчоночьему роду. И когда однажды мальчишка понял, что он всего-навсего один из многих и девчонка по имени Света если и думает о ком-то, то этот кто-то совсем не он, мальчишка готов был разрыдаться. Однако делать этого не стал ни в момент собственного прозрения, ни много позже. «Она пожалеет, — сказал он. — Ах, как она пожалеет». И уехал. Мальчишка не делал из своего отъезда тайны, нао-

борот, он лихо сбил кепку на затылок и таким валетом прошел по Дегтеревскому переулку, что даже участковый милиционер Дранышев прищурил глаз и, сплюнув под коряный сапог, звонко сказал:

— Ишь, выгребает, как всамделишный.

Напротив дома Светы Галычевой мальчишка остановился и так посмотрел на холодные и надменные окна, что стекла сверкнули невнятным отливом и судорожно задребезжали. А может, это всего-навсего были слезы и случайный ветер. Мальчишка уехал.

Вот и вся романтика. Год кантовался разнорабочим. Потом армия. А чуть позже, не заезжая домой, — сюда.

Стихов я не пишу, на гитаре не играю. Короче, личность вполне заурядная. И последнее — историю эту рассказывать буду я, как справедливо было замечено однажды. Я не Игорь Ильинский — терпите.

Началось все довольно банально. Шел автобус. Ехали люди. Думали о житье-бытье. Некоторые спорили, некоторые досыпали, короче, ехали. И тут вдруг забавное обстоятельство: пропал кондуктор. Пассажиры всполошились. Кто на улицу, кто к водителю: так, мол, и так: рост средний, глаза серые, усы вразлет, фуражка форменная. Был человек, и нет человека.

Водитель нас выслушал, зевнул, толкнул кепку на глаза и говорит:

— Не пойму вашего беспокойства, гражданин. Кондуктор не иголка, найдется. У меня график, поехали.

Ну раз поехали, какой разговор. Ему виднее, он бригадир маршрута. Пока суть да дело, кто-то предложил деньги собрать. К этому времени автобус свернул на площадь Коммунаров и стал тормозить. Народ засуетился. В чем дело? Почему остановка? Вот тут и следует сказать: «нда....а....а....» Дверь открылась, и на подножке появилась она. Вошла и сказала:

- Здравствуйте, я новый кондуктор.
- Ух ты, — вздохнул автобус, и мы поехали дальше.

\* \* \*

По-прежнему каждое утро приходил автобус. Все с шумом бросались на свободные места и ехали. Все было по-прежнему — и все было иначе. Среди нас появилась женщина. Мы смотрели друг на друга, пытаясь понять происходящее, но, увы, разводили руками. Мы только внешне оставались теми же самыми, а в сущности мы уже давно были другими.

Ее звали Леной. Фамилия Глухарева. Она была красива. Я говорю это утверждающе и категорически. Тот самый случай, когда невозможно выделить что-то одно: глаза, профиль, улыбку или манеру говорить. Нет. Бывает же человек красив весь сразу.

Очень скоро мы поняли, что все без исключения влюблены. Так случилось. Мы подозрительно поглядывали друг на друга и делали единственно верное, хотя и мало-приятное открытие: «И он тоже».

Двоих из нас скисли сразу, потому как почти молодожены. Им единственное что оставалось — говорить «здрасьте».

А вот мы — Сережка, Коля и я — мы другое дело. Наш удел — ждать.

Цветы договорились дарить по графику. Сегодня я, завтра — Николай, послезавтра — Сергей. Время от времени мы разрешали это делать Димке с Сашкой. Естественно, только в целях профилактики и укрепления семейных уз... Однако вскоре от этого пришлось отказаться. Начинал действовать закон перехода количества в качество. График был пересмотрен, и отныне цветы дарили мы, а молодожены хором говорили «здрасьте».

Ну, а дальше? А дальше решать не нам.

На дворе стоял апрель. Пористый снег, серые залысины асфальта на солнце, застекленные по утру лужицы и воздух — весенний и мороз. Мы вдыхали вечерний озон, блестали, так, по крайней мере, нам казалось, своим островерхием, ну и... Да, переживали и ждали. Чего именно? Решения прозаического уравнения. Быть или не быть. Любит — не любит.

И она сказала «быть». «Мальчики, мне лучше быть с Николаем».

Вот так просто решаются самые сложные проблемы. Не надо прятать двугривенный в новогодний пирог, по очереди тащить обломанные спички. Ничего не надо. Все просто: «Мальчики, мне лучше быть с Николаем».

«Но почему? — готов был взорваться каждый из нас.— Почему с Николаем?»

Мы убеждали себя: надо быть выше этого. Мы готовы были облизнуть презрением каждого, кто бы назвал это чувством зависти.

«Подумаешь,— говорили наши иронические взгляды.— Не считаете ли вы, что мы обижены вниманием. Мы, парни с незаконченным высшим, так сказать, надежда строительного треста и, надо полагать, не только треста. Смешно!»

Мы рады за товарища. И даже больше того, мы желаем ему счастья.

И все-таки почему?

Коварный червь сомнения сверлил наш мозг, а апрельское солнце пастойчиво подогревало наше легковоспламеняющееся самолюбие.

Да, он умен. А мы?

Да, он молчалив. А мы?

Ну, положим, не совсем, скорее, даже наоборот, но разве это порок?



Он пишет стихи. Ну и что? Стихи — не довод. Зато мы их читали, чего не делал он.

И все-таки чем-то он был лучше каждого из нас.

Может быть, своим умением слушать, полностью отдаваясь во власть мыслей собеседника.

А может, улыбкой, которая, словно заблудившись, вдруг застыла где-то в глубине его серых глаз.

А может быть... Нет... Это совсем другое.

Случилось все на его дне рождения. Дата хотя и не круглая — Николаю двадцать четыре, однако отметить положено.

Экспромт — великая вещь. Николаю ни слова.

Катюша Брагина — Сашкина любовь — где-то раздобыла кусок красной материи и, пока мы занимали у соседей стулья, обтянула кумачом угол комнаты.

Сашка достал мел и аршинными буквами написал: «Красно место пусто не бывает». Потом поставил точку и добавил: «Занято».

Около восьми все собрались, ждали Николая. А часом позже уже терялись в догадках, почему его нет. Лена наклонилась ко мне и сказала:

— Меня даже знобит от страха.

— С какой стати?

— А вдруг он не придет.

— Куда же он денется, придет.

В этот момент открылась дверь... С его плаща стекают капли воды — дождь обещали с утра. Николай ошелепо посмотрел на заставленный стол, на припарядившихся гостей и невпопад спросил:

— Что случилось?

— Ура! — завопил Димка.

Все остальное не имело значения.

Это был прекрасный вечер.

Ленка в ударе. Мы, впрочем, тоже. Напропалую отплясывали все модные танцы, на которые только способны.

— Кто посадил их рядом?

— Я.

— Ну и дурак, — выдыхает Димка, закручивая помрачительный твист.

Настроение Сережки меняется на ходу.

— С этой девчонкой я его вижу первый раз.

Спрашиваю:

— Серьезно?

— Профилактика, — отвечает Сережка одними губами.

Смотрю, как он виртуозно делает повороты, и успеваю подумать: «Танцует он лучше нас всех».

Странно, отчего его интересует красный угол?

Потом пришла буфетчица Поля и сказала, что цинандали нет, а есть шампанское. И мы пили шампанское.

Танцевать почему-то расхотелось. Сережка достал гитару. И тут случилось главное. Мы не заметили, как Лена подошла к нам.

— Мальчики! — У нее вкрадчивый, добрый голос. — Я вас всех очень люблю. И тебя, Сашук, и тебя, Димча, и тебя, Серый.

— А меня?

— Всех, Леша...

— Давайте выпьем за это...

Мы поправили галстуки.

— Отменный напиток, — сказал Сашка и облизал губы.

— Но это не все, мальчики. — Ленка посмотрелась в оконное стекло и поправила волосы.

— Конечно не все, мы выпьем теперь за нас!

— Да, Димча. Выпейте за нас с Николаем.

В комнате стало совсем тихо.

— Виват! — Сашка дает петуха.

И мы, давясь собственным достоинством, выпиваем не в меру горькую водку.

Казалось, ничего не изменилось. Стояла весна, ходил автобус. Так же как и раньше, молодожены бодро улыбались и хором говорили «здравьте», а мы плюс к этому дарили цветы. Все завидовали нам, мы — Николаю.

Еще по инерции наша компания гуляла вместе, но это

было уже совсем не то, как в плохом фильме, когда с первых минут знаешь, кто шпион.

## 18 апреля.

Утро в тот день, прямо скажем, выдалось нерадостное. Небо, как протертая мешковина, хорошего ожидать не приходится, а тут еще туман, густой и низкий. Отсюда и настроение не поймешь какое. И работать не работаем, что называется — простой. И опять же ругать некого.

Однако погоду не закажешь. Разожгли костры, греемся. Вроде повеселее стало. Скоро обед. А там, глядишь, и рассемафорит. Только вот раньше времени у нас настроение на поправку пошло.

Где-то около двенадцати слышим — кричат:

— Беда, товарищи! Беда!

Крик слышим, а кто кричит, непонятно — туман.

Пока сообразили, в чем дело, подбегает к костру прораб с соседнего участка. Волосы взлохмачены, пот градом, и сказать ничего не может, хрипит:

— Беда, ребята. Беда на гидролизном...

В такие минуты не до расспросов. Да и к чему они. О том, что вся стройка уже знает о случившемся, мы поняли сразу. По шоссе бежали группами и поодиночке. Были тут и с пятого, и с одиннадцатого, и с четвертого. Мы обогнали троих даже с жилмассива. Легче сказать, откуда не было. Бежали молча, с какими-то сосредоточенными лицами, отчего тишина становилась жутковатой.

Толпа расступилась сразу. Это не показалось удивительным. На стройке нас знали. Кто-то взял меня за локоть. Я неловко оттолкнул руку и двинулся дальше. «Эх», — вздохнула толпа и качнулась к носилкам. Первым несли крановщика. Он был мертв. Еще двое санитаров несли мастера штукатуров. «Этот тоже...» — сказал кто-то сзади. Я вздрогнул. Николай шел сам, его поддерживал врач. Он

двигался прямо на нас, чуть пошатываясь, с потемневшим от пыли лицом. Неожиданно он увидел нас. На какую-то секунду задержался, пытаясь то ли что-то сказать, то ли что-то вспомнить, но затем устало махнул рукой и, не проронив ни слова, прошел мимо.

...Такое случается не слишком часто, но все-таки случается. Неожиданно кран с грузом пошел вперед. Этому не придали значения. Когда машинист закричал, было уже поздно. Кран рухнул на леса административного корпуса, а затем вместе с ними вниз.

В комиссии семь человек. Они приехали сразу. Толпа еще стояла, когда на бетонированный пятачок вылетели две черные «Волги». Фролов, начальник нашей стройки, был без шляпы. Он с каким-то тоскливым разочарованием посмотрел на омертвевшее тело крана, рваные металлические фермы, завалившуюся на один бок тележку, машинально смахнул с рукава скоро оседавшую пыль и быстро пошел к котловану. Говорят, его перехватили уже в самолете. Последнее время он часто летал в Москву утрясать положенные и неположенные цифры плана...

Самолет уже взлетел, когда на борту приняли радиограмму о случившемся. Фролов не стал уточнять деталей. Он просто прошел к экипажу и сказал: «Ребята, необходимо немедленно посадить самолет... На стройке погибли люди». Что ответили ребята, об этом можно лишь догадываться, но ровно через двадцать пять минут самолет повторно стартовал. С той же самой взлетной полосы...

Фролов не требовал разъяснений. Он шел мимо настороженной толпы, вдоль принявшего отчетливые контуры нулевого цикла. Шел и молчал. Главный механик стройки, чуть поотстав, что-то торопливо объяснял заместителю Фролова. Тот понимающее кивал, однако говорить ничего не говорил. Наконец они остановились... И только тут Фролов впервые посмотрел на главного механи-

ка. Ветер подул в нашу сторону, до нас донеслись обрывки фраз.

Механик протестующе поднял руку, как если бы просил выслушать его до конца. Фролов лишь покачал головой.

— Не знаю,— прошелестело в воздухе.— Быть может, вам виднее. Главный механик пока вы.

— Но, Петр Константинович, — срывааясь на фальцет, выкрикнул механик. На большее его не хватило. Он разом обмяк, сснутился и сделал неуверенный шаг назад.

— Не будьте бабой. Привыкайте отвечать. Возьмите себя в руки. На нас смотрят. — Фролов решительно повернулся и быстро пошел прямо на поредевшую толпу. Народ нехотя расходился.

\* \* \*

Обратно шли не торопясь, небольшими группами, в полголоса обсуждая случившееся. Где-то у поворота на бензосклад нас нагнал чернявый парень. В отличие от других он шел один. Его фигура показалась мне знакомой. Чернявый легко перепрыгнул канаву и быстро пошел по успевшей уже просохнуть кромке асфальта. Обернулся он скорее случайно. Может, что почувствовал. Наши глаза встретились. Доброты в том взгляде не было, впрочем и покоя тоже.

Настроение заговорить сразу пропало. «Не узнает или не хочет узнать», — с чувством неприязни подумал я и отвернулся. Сомнения быть не могло — это Казутин.

Николай долго искал бригадира каменщиков, пока решил поставить на вторую бригаду этого приземистого, с необыкновенно длинными руками парня. Подробного знакомства у нас не было.

Пару раз у Николая, на народе да в отделе кадров — вот, пожалуй, и все.

Парень был на редкость нескладный и замкнутый. Может быть, потому и запоминался больше других. Николай его недолюбливал за нелюдимость, но за мастерство ценил и с бригадирством чернявого мирился.

«Н-да... тип не из приятных, но подробности знать должен», — решил я и стал вновь искать глазами своего знакомого.

Однако чернявый куда-то пропал. Отстать не мог, шел он быстро. Значит, убежал вперед или свернул на бензосклад — в общем, пропал.

Ребята заметили мое беспокойство.

— Ты чего?

— Да... так. Знакомого бригадира с шестого участка увидел.

— Ну...

— Вот тебе и ну. Пока прикидывал: он не он, испарился куда-то.

— Хреново... — Сашка сердито дернул головой.

— Узнать бы детали не помешало.

— Не помешало бы, — согласился Сергей.

Остальной путь шли молча.

\* \* \*

Пять дней стройка напоминала растревоженный муравейник. Говорили только об аварии. Кого-то обвиняли, с кем-то обещали посчитаться, напропалую ругались, опять спорили, и так каждый день.

Случившееся оказалось настолько внезапным, что первое время мы как бы привыкали к несчастью. Сживались с мыслью: «Наяву существует то, что на «самом деле случилось». Потом глухота оцепенения прошла, и мы превратились в обычновенных пострадавших, которым следует высказывать участие, понимающие трогать за локоть и чуть дрогнувшим голосом напутствовать:

— Ничего, ребята... Вы того, крепитесь. Не в лесу живем... Среди людей.

Ребята, как и положено ребятам, растроганно улыбались и то ли по неопытности, то ли от волнения, певнопад роняли: «Ну да... Точно. Само собой. Утрясется, уладится».

Жаль, но получилось все наоборот.

Делу дали ход.

Следствие вел некий Жихарев, из областной прокуратуры. Человек для нас неизвестный. Да и откуда...

Росту Жихарев был небольшого, лицом сухощав, говорил он тихо, даже слишком тихо. Сидишь напротив и все равно переспрашиваешь: «Что?», «Как вы сказали?» По такой причине и мысли разные в голову лезут. Дескать, не повезло человеку. Все шепотом да шепотом. Никак на здоровый голос не наладится. При такой работе сплошное неудобство. А тут вдруг на улице встретили. Здрасте, до свидания. И голос как голос. Быть не может... Пончудилось... Не стоит волноваться — чистопрофессиональное... Это как в боксе, главное — навязать противнику непривычную манеру боя. У них, считай, каждый допрос — поединок... Заставить преступника почувствовать неудобство... Это уже кое-что.

— А если не преступник.

— Ничего не попишешь, издержки производства. Жизнь... Лучше бы и не знать всего.

Спустя дней пять-шесть нас вызвали в прокуратуру. Точнее, нас тоже вызвали. Приглашали многих.

— Суть дела ясна,— обронил Жихарев и ткнул линейкой форточку.— Не люблю сквозняков... Остается уточнить частности.

Он так и сказал — «частности».

— Вы, кажется, дружили? — спросил он негромко.

Я покосился на папку (судя по всему дело за номер-

ром), на испачканные чернилами руки следователя, прислушался к свистящему придуху (видимо, сквозняк не только сегодня), еще острее почувствовал в голосе следователя досаду, посмотрел на достаточно стандартное мужское лицо, вздохнул и сказал себе: «Этот человек мне не нравится».

Жихарев не торопил меня. Он с преувеличенным вниманием перелистывал материалы дела, которые наверняка знал наизусть, качал головой, как если бы удивлялся наивности написанного, и ждал...

— Пусть вам не кажется. Товарищ Климов мой самый близкий друг.

— Гражданин Климов,— мягко поправил следователь.

— Для кого как, гражданин следователь. Для нас — товарищ.

— На вашем месте я был бы осмотрительнее,— почти ласково сказал Жихарев.

— Что делать, нет практики.

Жихарев отодвинул дело и теперь уже с подчеркнутой цеприязнью посмотрел на меня.

\* \* \*

Частностей оказалось не так мало. Целая человеческая жизнь. И все-таки следствие скоро кончилось. Все поставлено на свои места.

Начальник участка Климов признал свою вину полностью. Подкраповые цуги проверял крановщик. Но крановщик погиб, его к ответственности не привлечешь. Еще существуют бригадиры. Однако каких-либо указаний на этот счет бригадиры не получали. Показания свидетелей обвиняемый Климов подтвердил. Ход следствия признали правильным. Наши показания, как и выводы комиссии, приобщили к делу. Суд назначили на вторник четвертого июля.

## 20 мая

Пока шло следствие, Николай был замкнут и раздражителен. Мы часто собирались вечерами и уже в какой раз пытались что-то уяснить окончательно. На наши вопросы Николай отвечал однозначно: да, нет, может быть. Со стороны даже казалось, он избегает нас. Предположения, догадки, противопоставления — все это могло и, наверно, должно быть вначале, после чего и появляется нечто целое, что принято называть выводом: он не виновен или наоборот — он виноват. У нас же все было иначе: «не виноват», «не мог так поступить» — существовало как раз и навсегда определенное.

Для такой ошибки он слишком собран, рассуждали мы, точен, иногда даже категоричен. Он мог обидеть иронией, вывести из себя начальника треста, мог возмутить упрямством, точнее, самоуверенностью, оказаться добрым больше чем нужно. Но забыть дать указание — нет. Это на него не похоже.

Разве мы его плохо знаем? Мы знаем его отлично. Но тогда почему он не хочет нам помочь. Почему? Не может же человек желать, чтобы его осудили. Что делать, мы действительно не верили в его виновность.

- Давайте все взвесим еще раз.
- Давай, — невесело соглашаются ребята.
- Общеизвестно, что проверка подкрановых путей обязательна.
- Пожалуй, тем более весной.— Сергей ломает спички.
- Если я их проверил вчера, если я их проверил позавчера и вообще делаю это каждый день, что мне мешает их проверить сегодня.
- Действительно, что может нормальному человеку помешать совершить нормальный поступок?
- Н-не...нормальность. Духовная депрессия,— пре-

рывает мои рассуждения Сашка и краснеет. Сашка всегда краснеет, когда произносит длипные слова.

— Причины? Нервное потрясение.

— Прекрати ты дымить своей вонючей сигаретой. Мешаешь сосредоточиться.

Димка виновато улыбается и аккуратно тушит окурок.

— Да... Так на чем мы остановились. Мы остановились на Б. Итак, Б.— разлад с друзьями, В — разлад с Ленкой.

— Первое исключено.

Ребята переглядываются.

— Ис-исключено, — подтверждает Сашка.

— Второе. Что вы на меня уставились? Пожалуй, тоже исключено.

— Пожалуй, тоже исключено, — как эхо повторяет Сергей.

— Дима, ты можешь посидеть спокойно? У меня начинает кружиться голова. И вообще...

Сашка что-то рисует на листке бумаги.

— Что такое Г?

— Наше положение.

— Не смешно.

— Почему же? Грубо, но верно. — Димка громко сморкается.

— Неприятности на работе, точнее, конфликт с начальством, разговор с рабочими. Первым с ним встречается Сергей. Их участки рядом.

— Нет, — Сергей задумчиво мотает головой... — Нет. Во всяком случае, мы бы обо всем знали.

Он смахивает со стола обломки спичек.

— Следовательно, духовная депрессия отпадает... — Я по очереди оглядываю ребят.

— Похоже на это, — бормочет Димка.

— Очевидно, — присоединяется Сергей.

— З-значит, дал указание,— заключает Сашка.

- Пишем римское два.
  - Предположим — указание дано... Вопрос — кому? Этот ребус нам порядком надоел.
  - Если верить следствию — никому, — бормочет Димка и снова начинает кружиться по комнате. — Если верить... если верить... Какого черта мы тогда здесь торчим.
  - Дима, у меня рябит в глазах, ты можешь сесть?
- Дима пожимает плечами:
- Если вы настаиваете.
  - Настаиваем, — отрубает Сергей.
  - Да. Так на чем мы остановились?
  - Мы остановились на «кому»? Двух мнений быть не может. Бригадирам.
  - Допустим.
  - Чего допускать. Отпадает.
- Он входит неожиданно.
- Я подписал все протоколы. — Николай расстегивает рубашку. — Будем считать, что мне не повезло.
- Нам не хочется начинать этот разговор, но другого выхода нет.
- Согласись, это ведь смешно: забыл проверить, забыл дать указание.
- Николай смотрит на меня каким-то отсутствующим взглядом.
- Смешного мало, Леша... — Рубаха летит на кровать. — Ты что, полагаешь, я сам не думал?
- На этот раз я развозжу руками.
- Почему? Думал, наверно, но ты же не будешь отрицать, что все это очень странно.
  - Что — странно?
  - Все. И твое признание своей вины, и уникальная забывчивость, и отсутствие бригадира каменщиков наверху.
- Николай опускает глаза.

— Ничего странного. Перебой с цементным раствором. Попросил подстраховать. По телефону не дозвонишься. Легче человека послать. Когда как, а нынче — слава богу. Будь он наверху, еще неизвестно что получилось бы. А так...

Его губы нервно дергаются.

— Я слышал, суд будет показательным.

— Не совсем так... Просто мы получили разрешение выставить общественного защитника.

— Вот как? И этим защитником будешь ты.

— Видимо. Ты должен нам помочь, Николай.

— Помочь? Чем?

— Не знаю, по должен.

— Я тоже не зпаю. Эх, парни. Если бы не Сотин. Мне так хотелось поставить его на ноги. А он взял и погиб. Нет Сотина. Понимаете? Нет! И в этом виноват я. Нам только кажется — нас судят. Судим себя — мы! Мы — и никто иной. Ну, да что переливать из пустого в порожнее. Дело сделано. Протоколы подписаны. Суд назначен.

Николай откидывается на спину кровати, закрывает глаза:

— Устал, как я устал, ребята...

«Если бы не Сотин». — Этого слишком мало для доказательства. Что он хотел этим сказать? «Если бы не Сотин...»

\* \* \*

Мой хороший друг однажды заметил: «У каждого из нас будут свой персональный огонь, свои воды и свои медные трубы, которые, хочешь того или не хочешь, обязательно пройдешь. Не спешите утверждаться в мысли: «мне повезло, мне легче». Не спешите. Вам еще будет трудно. Так уж устроен мир. На сложности и неудачи время всегда найдется.

Начальник строительства Фролов непреклонен — судить.

Главного механика освободили от работы. Все некстати, все против нас. Проходит время. И как бы ни велика была беда, становится спокойнее, к тебе возвращается способность сопоставлять события, задавать вопросы. И все-таки это состояние наступает позже. Мы еще спросим себя: почему именно в райком? Откуда такая уверенность? И еще сотни почему, каким образом.

А тогда нет. Каждый потерянный день лишь усиливал нашу растерянность.

Да, мы растерялись. В этом нет ничего сверхъестественного. Какие-то вещи открываешь для себя заново. Их можно предположить, предугадать, но быть готовым невозможно. Переживаемое впервые — всегда неожиданно.

Следствие закончено, суд назначеп — магические слова, излучающие тревогу и ощущение безысходности.

Действительно, шло следствие, выяснялись детали, давались показания, была зыбкая, но все-таки надежда что-то изменить. Точка приложения наших сил находилась на поверхности, была очевидной.

И вдруг все рухнуло. Рухнуло разом. Следствие закончено.

«Начнем все сначала» — сказать несравненно легче, чем действительно начать. Куда-то идти, с кем-то говорить, кого-то убеждать.

Будут новые люди, круг которых для нас неведом, он не существовал даже в нашем воображении.

Миф о всесилии одиночек развеялся окончательно. Мы просто-напросто перепутали век. Нам нужна помощь.

В нашей комнате открыты окна, но все равно душно. Надо же, май — и такая жара. Приоткрываю дверь, ставлю стул. Хоть никакой, а сквозняк...

— Значит, в райком,— говорит Сашка таким тоном,

будто остальные варианты разобраны с редкой дотошностью.

— С чего ты взял? — недовольно бормочет Сергей.

Сашкина импровизация застает нас врасплох.

— А что, есть другие предложения?

— Других предложений нет, но все-таки. У меня скверное настроение, никак не могу прийти в себя. Следствие, предстоящий суд — все перемешалось.

— Отлично, поясняю. Кто есть мы. Простые смертные.

— Можно без балагана?

Сережка настроен категорично.

— Чего ты к нему привязался.

Все без измепений.

Стоит Сережке вмешаться в разговор. Димка на дыбы.

— Ему сегодня не зачли план. Это опять я. Надо же как-то уравновесить позиции.

— А... а... Тогда другое дело...

На полтона ниже, и Дима становится нормальным человеком.

— Я... я пп-продолжаю.

— Валяй. — Димка берет со стола мундштук и начинает его чистить.

— Кто есть мы? Простые смертные. Рядовые труженики республики. А кто есть Климов?

— Активист?

— Ха, активист. Бери выше, какой активист! Во-первых, член комитета стройки, во-вторых, бессменный председатель совета молодых специалистов, в-третьих...

— Стой, достаточно во-вторых... Он прав, начнем с райкома.

Сережка недовольно щурится на солнечный свет.

— Не знаю, по-моему, это пустой номер.

— Что ты предлагаешь?

Сережка пожимает плечами:

- Надо подумать.
- Очень интересно. Целая программа конкретных действий...
- Все шутишь. А я, между прочим, серьезно.
- И я серьезно. У тебя есть возможность сказать что-то определенное. А ты все жуешь, жуешь и никак проглотить не можешь.
- Это он просто выплюнуть боится.
- Чего вы окрысились. Вам надо, чтобы я со всеми соглашался?
- Нам вообще ничего не надо. Ставить под сомнение старое еще не значит создавать новое.
- Каждому свое. Я против непродуманных шагов.
- Я тоже против, однако сделать первый шаг, пусть даже неточный,— значит начать действовать. А сейчас это главное.
- Может быть.
- Тогда какой разговор, пошли?

Саша прав, если уж делать первый шаг, то делать его там, где есть наибольшая вероятность не начинать все сначала.

Всегда рассчитываешь на понимание. Иначе нельзя. Что-то же должно стимулировать желание действовать.

Активист, я так думаю, значит, единомышленник.

Нас можно упрекнуть в терминологии. Сашка не просто сказал: во-первых, во-вторых, он обозначил слишком значительное — надежду на понимание.

## 28 мая.

В райкоме комсомола пахло kleem и непросохшей маской. Стол секретаря завален бумагами, сбоку стопка книг... Та, что массивнее других, лежит сверху. «Философский словарь», — читаю я про себя.

— Устраивайтесь, — бросает Бутырин на ходу и ки-

вает на стулья, расставленные вдоль стены. Мы садимся.

Во время беседы с посетителями Петя Бутырин, второй секретарь, как правило, что-то помечал в дряблом блокноте, чём чрезвычайно располагал к себе присутствующих. Впоследствии Петя так же регулярно записи терял, но это уже, на его взгляд, принципиального значения не имело.

Когда мы кончили, Бутырин взъерошил волосы, перелистал свои записи и машинально потрогал философский словарь.

— Н-да... Нехорошо получается... Нехорошо. Года не работаем, а уже грешил прокол с членами райкома.

— Такое может случиться со всяkim,— заметили мы.

— Может, — вздохнул Бутырин, — но не случается. Ему, я полагаю, года три дадут?

— Вы правильно полагаете, — ответили мы и стали собирать бумаги.

— Досадно, — раздумчиво заметил Бутырин. — Придется исключать из комсомола.

— Это же абсурд!

— Почему абсурд — политика, — поправил Бутырин.

— Значит, это вредная политика, — сказали мы.

— Ну, вредная или полезная, нам, знаете ли, виднее... Ясно?

— Нет, не ясно! Он перед комсомолом чист. Он не совершил нарушений устава.

— В прямом смысле да, а в переносном — нет. Обычное соотношение общего и частного. Диалектика...

— Климов — член комитета...

— Знаю. Тем хуже. Комсомол лишь часть общества... Расположенная, кстати, внутри, а не вне его... Климов нарушил законы общества, то есть целого, тем самым он вступил в противоречие с его частью, которой свойственны закономерности целого. Как видите, не так сложно.

— Вы намерены исключить его из комсомола, а не из общества...

— Само собой. Общество его уже исключило. Он за его пределами, иначе — в тюрьме.

— Вы излишне торопливы. — Димкины скулы зловеще белеют. — Суд еще не состоялся.

— Ну, это уже формальности. Мы взрослые люди. Каждому ясно, чем он кончится.

— Неправда. Общество не собирается исключать Климова. Оно лишь намерено наказать его — и наказать временно. Суд не может не учесть, что перед ним не закоренелый преступник, а человек, совершивший серьезный, но единичный проступок.

Бутырин раздраженно дернул плечами.

— Следуя вашему призыву, не будем спешить с выводами. Надеюсь, суд в состоянии взвесить все «за» и «против». И вообще это бесполезный разговор. Мы впустую тратим время. Устав ВЛКСМ вырабатывал не я. Моя обязанность его выполнять. Не понимаю, почему это вызывает у вас раздражение.

— Потому что каждый подобный шаг убивает в человеке веру в то самое общество, идеалами которого он живет.

— Послушайте, ребята, вы напрасно тратите свой пафос здесь. Разумнее не совершать преступления, чем обвинять комсомол в отсутствии гуманности.

— Климов не совершал преступления. Вы же знаете его...

— Знаю, но факт остается фактом. Человеческая душа — потемки. Ваше упорство делает вам честь, но ни в чем никого не убеждает. Впрочем, и вас тоже.

— Зачем мы сюда пришли? — устало бормочет Сашка.

— Это уж позвольте спросить вас... Наверное, не для того, чтобы обсуждать советское законодательство...

— Да... да, не для того,— соглашаюсь я.

Мне казалось, что его кабинет гораздо просторнее. Первое впечатление всегда обманчиво. Какая несуразная и душная комната. Ужасно скрипучий паркет.

— Смешные люди,— бормочет Бутырин.— Думаете, мне не обидно... Пять месяцев...

Он еще что-то говорит. Слова настигают нас в дверях. Но мы их уже не слышим...

\* \* \*

Выходим на улицу, стараемся не глядеть друг на друга. Наш провал слишком очевиден.

— Так нельзя...

— Что нельзя, Дима?

— Беспомощность — плохой аргумент.

— Есть предложение посетить кафе «Весна»...

— Идея не ахти, конечно, но другого выхода нет.

— По крайней мере, лучше, чем торчать на улице...

К тому же дождь собирается.

Снимаем табличку «Стол не обслуживается». Официантка возражает. Это уже по части Димы. Дима многозначительно щурит глаза.

— Сестра, ты же нас любишь? — говорит Дима и кладет в мягкую ладонь рубль...

Для начала недурно, конфликт уложен.

— Кто хочет высказаться?

Высказаться хотят все.

Мы не должны просить — справедливая мысль... Мы должны настаивать.

— Откуда такая уверенность, что нас поймут?

— Простите, у вас тут свободно?

— Занято!

— Не так громко, ребята. Дима, дай ей еще полтинник и отставь эти стулья к другим столикам.

- Шумно здесь,— недовольно морщится Сашка.
  - Что делать, издержки общественного питания. В следующий раз мы закажем отдельный кабинет.
  - Кончайте трепаться... Поговорим о деле...
  - Дело надо делать, а не говорить о нем.
  - Зрелое замечание, Сережа. Может быть, ты скажешь как?
  - Пора стать взрослыми людьми. Эмоции удел наивных. Нужны факты...
  - Хм, факты... Где их взять.
  - Мы знаем только то, что мы знаем.
- Сашка трет ладонью подбородок.
- Правильно. А знаем мы ноль целых ноль десятых. Иначе говоря — ничего.
  - А ты, Сережка, оптимист.
  - Неправда. Мы знаем главное. Мы знаем Николая. На шестом участке есть некто, кому поручалось проверить подкрановые пути. Я уверен в этом. В конце концов проверять — дело крановщика.
  - Согласен, но крановщик погиб. Его ни о чем не спросишь.
  - Мы обязаны заронить сомнение, понимаешь — обязаны.
  - Ты предлагаешь начать новое следствие.— Все также ироническая улыбка.
  - Сергей, ты мне не нравишься. Сашка говорит дело. Нам нужны друзья. Люди, которые нам поверят.
  - Точнее, захотят поверить.
  - Пусть так, Дима. Это тоже кое-что.
  - Вот именно кое-что.
  - Мы не добьемся оправдания. Так может случиться. Но это не значит, что мы проиграли. Пять лет — срок, и два года — тоже срок... Сделать все, что в наших силах, чтобы наказание было минимальным.

— А разве может быть иначе? — Сашка беспомощно оглядывается на Сергея, Димку... — Ты сам с-с-сказал, Сережа. Откуда такая уверенность, что нас поймут. Правильно, уверенности нет. Но откуда уверенность в непонимании. Ее же тоже нет...

— Я не знаю, чем все кончится, и не собираюсь противопоставлять факты эмоциям. Но я уверен в... одном. Сейчас нам нельзя сомневаться.

— Что верно, то верно.

— Бутырин — это начало. Он не один.

— Тем хуже.

— Согласен, Сережа. — Дима говорит обрывками фраз. — Мы должны помешать людям отвернуться...

— Не знаю, может быть... Только я слабо в это верю.

— Влиятельные люди везде есть.

— Наверно, есть.

— Вот и отлично. Будем искать влиятельных людей.  
Стаканы с пивом простуженно звенят.

\* \* \*

## 29 мая

— По какому вопросу? — спросила она и встала.

— По важному, — ответили мы и сели.

— Вас вызывали? — еще раз спросила она.

— Нет, мы пришли сами, — еще раз ответили мы.

— Тогда подождите.

Массивная дверь легко поддалась и поглотила секретаршу.

Он был, скорее, моложав, чем молод, выдавали морщины. Стоило Харламову задуматься, в межбровье обознались три вертикальные складки, мягкие разводы кожи под глазами дрябли, и сразу лицо становилось лицом немолодого человека.

— Курите,— сказал секретарь обкома и толкнул к нам пепельницу.— Мне кое-что известно. Этого достаточно, чтобы высказать сожаление, но слишком мало, чтобы помочь. Я вас слушаю.

Мы не очень последовательны в своем рассказе, часто перебиваем друг друга, вспоминаем подробности. Наконец наступает момент, когда я говорю...

— Вот и все...

В кабинете тихо. Харламов сидит вполоборота к окну. В течение всего рассказа он ни разу не перебил нас, не уточнял деталей. Он просто слушал.

— Ну что ж,— замечает Харламов.— Давайте советоваться, как помочь вашему другу.

Что советовать — мы не знали и поэтому устало пожимаем плечами.

— Помочь надо, обязательно надо,— говорю я.

— Но мы не знаем как,— ставит точку Сергей.

Харламов подхватывает телефонную трубку. Затяжной гудок повторяется несколько раз. Наконец трубка издает икающий звук, и четкий голос отвечает:

— Приемная генеральского прокурора.

— Федор Савельич на месте?

Трубка многозначительно помолчала.

— Кто его спрашивает?

— Харламов.

— Соединяю,— пропел тот же голос. Трубка выразительно кашлянула, и хрипловатый бас сказал: «Н-да...»

— Федор Савельич? Добрый день. Это Харламов. Я по делу Климова.

...

— Да... На стройке... Да... да.

...

— Я понимаю. Закон есть закон. Однако народ говорит, что Климов не мог не дать указания.

...  
— Доводы? Слова хороших людей. Вера в человека.

...  
— Как? А... Для юриспруденции это не доводы. Нужны доказательства.

...  
— Доказательства,— усмехнулся Харламов.— Мы собирались пригласить Климова для беседы.

...  
— Да, на предмет работы секретарем райкома.

...  
— Почему же? Мы не жалеем...

...  
— А я не оказываю... Я тоже считаю, перед судами все равны. Но я еще считаю, следствие не имеет права пренебречь мнением комсомола.

...  
— Мы знаем, что будет суд.

...  
— Это уже другой вопрос. Пока идет следствие. И при его ведении должно учитывать все. Да, да, все...

...  
— Нет, я имею на это основание. Что вы говорите?

...  
— Ах, друзья! Так это хорошо, когда у Климова столько друзей... Как? Опять не довод?

...  
— Ну, правильно, для вас осудить тунеядца — это все равно что пирамиду Хеопса построить. А тут...

...  
— Понятно, не было состава преступления.

...  
— Ага... В данном случае есть. А кто этот человек? Чем он жил, для кого жил — для вас это частности?

...  
— Понимаю. Да здравствует справедливость. Перед законом все равны.

...  
— Как?.. К счастью, на это у вас нет права. Безусловно.

...  
— Правильно. Вот мы и помогаем.  
Трубка с треском падает на рычаг.

— Ну, что ж, этого следовало ожидать. Мы тоже не лыком шиты,— сквозь зубы цедит Харламов.— Формально он прав... Собственно, что мы теряем? — Харламов со средоточенно трет переносицу. — Просим внимательно подойти к разбору дела. Не пороть горячку. Так или не так?

Я вижу его настороженный взгляд:  
— Очевидно.

— Вот и я про то. Какое ж это давление? Внимание к человеку. Вот как это называется. Если хороший человек попал в беду? А ведь Климов хороший человек? А? — И снова настороженный взгляд.

— Мы плохих не держим,— в тон Харламову бросает Сергей.

— Не держите... Это нам известно. Не помню, в каком номере, кажется октябрьском, за тот год. Да... октябрьском. Крупно — «Мы этой жизни суть»... Чуть ниже, прописным — «Дневники современника». Целая полоса. Было такое!?

— Да, вроде было,— подтверждаем мы не очень охотно.

— Так что народ вы известный. Кстати, шутки шутками, а газету надо приложить к делу...

— Можно,— соглашаемся мы.

— Не можно, а нужно... Значит, хороший... Ну раз так,

что надо делать? — Харламов обводит нас загадочным взглядом и тут же отвечает: — Надо действовать. И действовать незамедлительно. Едем в горисполком.

— Стойте ли, не исключено, что там тоже Бутырины.

Разговор с прокурором несколько пригасил наш оптимизм.

— Бутырин? При чем тут Бутырин? — насторожился Харламов.

Нам не ловко, но мы снова садимся и рассказываем, при чем тут Бутырин.

Он слушал, устало привалившись к столу, непрестанно курил. Когда мы замолчали, Харламов осторожно сдул пепел с настольного стекла и, против ожидания, совершенно спокойно произнес:

— Ну и что? — Затем неожиданно откинулся назад и, глядя куда-то в окно, медленно заговорил: — А вы что хотите? Чтобы везде мудрецы сидели, ясновидцы? Я бы тоже хотел. Да, как говорят, есть потребность, но нет возможности. Слышали такое?

— Слыхали... — кашлянув, подтвердил Димка.

— Вот и хорошо, что слыхали... Видите ли, ребята, — Харламов снова привалился к столу, — Бутырины, скорее, случайность, нежели закономерность. Но тем не менее она существует. Су-ще-ству-ет.

— Ну так, солице не без пятен.

— Во, правильно, не без пятен. А если по сути. Общество наше могучее — это факт. — Харламов снова достает сигарету. — Но даже наше общество пока не столь совершенno, чтобы исключить такое явление, как дурак. Я подчеркиваю — пока. С каждым днем дураку будет все труднее. Общество становится умнее. А значит, дурак будет явным. Это одна сторона вопроса. Киньте-ка мне спички... Вы ведь все на заочном?

Харламов повернулся к Сергею.

— У вас лекции читают?

— А как же.— Сергей почему-то краснеет.

— Ну, я по части лекций слабоват. Да и времени у нас в обрез. Но тем не менее есть другая сторона вопроса. Бывает просто дурак или недалекий человек. А есть дурак активный... Он все время в движении. Общение с ним кратковременно, а значит, люди не могут сразу определить, кто перед ними. Не могут. А иллюзию кипучей деятельности он создавать умеет. Нет у нас еще такого дорожного знака: «Осторожно — дурак». Но будет. Я в этом уверен. Будет... Вы что намерены делать?

Все смотрят почему-то на меня. Харламов замечает это, смеется.

— Так все-таки?

— Мы сами толком не знаем.

— М-да... Незавидная программа. У начальника стройки были?

— Нет, не были.

Часы на стене пробили три раза.

— Да и зачем. Фролов самолично дал делу ход.

— Ну, положим, замять дело, где погиб один человек и покалечен второй, очевидно, невозможно, да и не нормально. Я полагаю, на этот счет у нас нет возражений.

— Видимо, нет.

— Почему, видимо?

— Собственно, мы не знаем, против чего можем иметь возражения. Если не вдаваться в суть, все вообще нормально. И суд, и приговор, который вынесут, и исключение из комсомола, и всевозможные поражения в правах... Есть преступник — значит, должно быть наказание. Опять же нормальное положение вещей.

— Да-а,— роняет Харламов в наступившую тишину, откидывается назад и начинает методично выстукивать

тонкими пальцами о край стола... — Хотите начистоту...

Мы переглядываемся. Ребята неловко меняют позы:  
— Хотим.

— Я не собираюсь хлопотать об отмене суда... Во-первых, это бесцельная трата времени. Во-вторых, факт суда сам по себе справедлив. Если бы жертвой несчастья стал ваш друг... Разве вы не требовали бы суда...

— Мы не против суда. Мы против наказания невиновного. А это не одно и то же. — Сашкины губы нервно дергаются. Он быстро отводит взгляд в сторону.

— Но ведь вы сами говорите: Климов признал свою вину.

— Признал.

— И у вас нет фактов доказать обратное.

— Пока нет.

— Вот видите. Дело не в суде, ребята... Важно, чтобы все смягчающие обстоятельства были приняты во внимание и судом, и следствием, и даже нами... Что вы на меня так смотрите? Именно нами; кто окружает вас. Его жизнь не кончается судом. Вот так я понимаю наш разговор.

Наверное, Харlamов прав. И чуть позже нам многое станет ясным. Суд назначен. Это верно. Но он еще не состоялся. И где-то в глубине души каждый из нас верил в чудо. А вдруг, а почему бы нет...

Харlamов отнимал у нас эту надежду на чудо. Он старался нас убедить, но нам не хотелось ему верить.

Харlamов смотрит на часы:

— Однако мы заговорили! — Встал.

— Возможно, — соглашаемся мы и тоже встаем.

— Значит, до завтра. Телефон запишите... Буду через час, — бросает он в приемной и необычным для него невысокой фигуры шагом, размашистым и тяжелым, двигается по коридору.

**4 июля**

Суд заседал целый день.

Помещение оказалось слишком тесным, чтобы вместить всех желающих. Зал, а это был как-никак зал, вызывающе гудел. Когда мы пришли, свободными оставались лишь задние ряды. Впереди сидели незнакомые парни.

— Летний бульвар в полном составе,— пробормотал баритон за моей спиной.— Э-эх... Молодежь!

\* \* \*

Крановщик Сотин был из приплых. Его долго не принимали на работу. В отделах кадров с интересом разглядывали паспорт, испещренный красноречивыми печатями, скрупенно качали головой, вздыхали и возвращали его владельцу: «Ты уж извини, но... в общем, сам понимаешь». И Сотин понимал. Машинально брал возвращенные документы, бормотал что-то невразумительное и уходил.

Так прошло два месяца. В комитет комсомола Сотин забрел случайно, перепутал его с месткомом. В такое время Николай там оказался тоже случайно. Разговорились. А через неделю Сотин был оформлен крановщиком на пятый участок. Здесь бы и точку поставить: мол, кончились твои мытарства, человек. Работа есть, крыша над головой имеется. Живи человек себе в толк и людям на радость... Так ведь нет. С фатальной закономерностью, в городе появились его старые друзья. Это не проходило бесследно. Сотин начинал прогуливать, бездумно пить. В такие дни он возвращался под утро, валился на мятую постель и подолгу лежал без видимого интереса к окружающему, уставившись в потолок потускневшим отрешенным взглядом. Тогда Николай старался ему помочь, ругал меньше обычного, гнал в кино, тащил с собой на тренировки, оставлял у себя почевать.

Иногда у него кое-что получалось, но только иногда. Чаще всего он наталкивался на озлобленный протест с бесконечным повторением: «Я сам, чего вы, я сам».

В затею Николая мы верили слабо, советовали бросить, на что он только улыбался:

— Бросить, нет, ребята. Бросают окурки на мостовую, и то по причине низкой культуры. А тут человек. Попробуем еще раз.

И все начиналось сначала.

Со временем дружки исчезали... Что, почему, кто знает? Исчезали — и все. А может быть, их сажали снова... Компания лихая, известный народ.

И тут, как в хорошем театре, на сцене появлялся совсем другой Сотин. Между собой, может, и не все так. А на людях — человек человеком, даже чуточку застенчивый. Грехи как-то сразу забывались. Уж больно ему шел непретенциозный, человеческий вид. И даже наш пессимизм неизменно давал трещину. «Чем черт не шутит... Все бывает».

Сотин не раз настраивался уехать. «На хвосте они у меня и отставать не спешат... Видать, самому пырять придется», — рассуждал он незлобно.

Однако не уехал... Может, привык, а может, расхотелось.

И вот теперь его нет. И лишь эти шесть первых рядов, заполненные угрюмыми парнями, напоминали о его трудной жизни.

\* \* \*

## Тоже 4 июля

От официального защитника Николай отказался.

— Зачем? — сказал он на суде. — Преступления, и тем более преднамеренного, я не совершил. Защищаться перед кем-то у меня нет основания. Я не снимаю с себя от-

ветственности за случившееся. Более того, подчеркиваю, что виноват только я. Подкрановые пути 16 апреля были не в порядке. Проверял ли их крановщик? Не знаю. Должен ли был проверить сам? Очевидно. Кому-либо указаний на этот счет не давал. Вину свою признаю полностью. Мне очень... — Николай беспомощно посмотрел в сторону родителей Сотина, хотел еще что-то добавить, но неожиданно совсем тихо закончил: — Больше мне сказать нечего.

Зал беспокойно вздохнул.

— Уграбил человека, а теперь интеллигента корчит, сволочь! — надрывно крикнул рябоватый парень.

Впереди одобрительно загудели.

— Это тебе не свидетельские показания давать! Терпеча вашего брата... — парень угрожающе поднял кулак. — Допрыгался, партеец?

— Заткнись, — выкрикнул кто-то из наших.

— Я те заткнусь... — Рябоватый снова попытался встать, но его силой усадили на место.

Мы видели, как Николай побледнел.

Родственники Сотина сидели чуть сбоку, и со стороны казалось, что все происходящее их мало касается. Лишь время от времени плечи отца судорожно вздрагивали, и тогда безнадежно древняя бабка, она сидела рядом, начинала торопливо креститься.

Я выступал четвертым. Позади была не одна бессонная ночь, усталость и растерянность. Не единожды воспаленное воображение рисовало мне образ, облаченный в строгую мантию, перед улюлюкающим и ревущим залом, после чего я просыпался в холодном поту и долго не мог заснуть, терзаемый сомнениями и предчувствиями. Однако ночь брала свое. На смену залу улюлюкающему являлся зал рукоплещущий, и тогда сон становился безмятежным и радостным. Но все это было тогда, где-то далеко позади. А сейчас я беспомощен и косноязычен до безобразия.

Блистательные речи Кони, уничтожающие афоризмы Спинозы, все то, что я пытался впитать в себя за последний месяц, куда-то испарилось, и я остался один на один с раздраженным залом и слабым подобием трибуны, с которой мне предстоит сказать речь, речь общественного защитника.

\* \* \*

Кому из нас не хотелось видеть себя поднаторевшим, не лишенным сарказма, мудрой бывалости в свои исконные двадцать пять лет? Увы, но моя неопытность была безграничной.

Говорил я долго и сбивчиво... Я не защищал его... Мне хотелось очень немногого, чтобы люди, сидящие в этом сдавленном и душном зале, чуть-чуть отчетливее разглядели человека за бутыльчатым колонником скрипучей перегородки, разглядели подсудимого.

— Что может быть весомее, чем собственная жизнь? — спросил я у зала и сам себе ответил: — Ничего.

Моя речь могла показаться непоследовательной, доводы весьма относительными. Видимо, так оно и было.

Я говорил, а меня неотступно преследовала мысль: «Все мишура. Песок. Ты не сказал главного, чего-то очень значительного. Твои слова никого не убеждают. Посмотри в зал. Он безмолвствует... Я смотрел в зал и не видел ничего, кроме розового колыхающегося тумана. Ты думаешь — это тишина. Нет — это безразличие к твоим словам. Это провал. Какая глупая затея быть общественным защитником. В самом деле, кого может удивить жизнь? Удивляет лишь смерть.

«Тогда на собрании актива, он произнес подобную фразу... Хотел сказать главное, все время думал — надо сказать главное, и вот не сказал. Глупо».

Почему вдруг актив? Мне трудно ответить на этот вопрос. Подсудимый признал себя виноватым. Речь защитника по существу бессмысленна. А значит, всё то, что ты говорил или еще скажешь, чревато нелепым вопросом: «Зачем?»

Существуют жизненные ситуации, в которых человек обретает свое я. В такие минуты все происходящее вокруг тебя второстепенно, ибо твой интерес в человеке, которого ты раз и навсегда определил умным или глупцом, решительным или трусом.

Подобные активы мало чем отличаются один от другого... Строителей вечно критикуют.

Николай не собирался выступать. Назвали его фамилию, зал привычно гудел, мы переглянулись, а он как ни в чем не бывало встал и быстро пошел к трибуне...

— Есть вещи, о которых не принято говорить вслух,— сказал Николай, и зал словно ошпарило тишиной.— Зачем существует критика? Вопрос риторический, и тем не менее я его задаю.

С точки зрения общепринятых норм доклад был критическим. Суть в другом: критика бессмысленна.

Кончился еще один актив. Мы не спеша поднимемся со своих мест, перекурим в коридоре, не спеша разойдемся и так же не спеша обо всем забудем. Придет время следующего актива — все повторится сначала. И только в привычной критической обойме Иванов заменит Петрова, а Сидоров — Решетова. Вы думаете, это кого-нибудь удивит? Никогда! Так было до нас, существует ныне и будет после. Кого мы обманываем?

План выполнен на 101 процент, так утверждает докладчик. Может быть, кому-то из присутствующих не известно, что тридцать процентов принятого жилья будет сдано в эксплуатацию лишь в конце следующего месяца. Разве об этом не знает секретарь областного комитета пар-

тии, заместитель председателя горисполкома, разве об этом не знали их предшественники?

То, что началось в зале, доступно лишь пониманию строителя... Сказанное касалось всей сути нашей работы. Он не был дипломатом.

Фролов, начальник стройки, сидел ближе всех к трибуне. Неожиданно он встал, взял в руки микрофон и трубко пробасил:

— Будем сдержаны, на трибуне строитель, и, как показала практика, неплохой строитель.

Слова начальника строительства лишь подхлестнули зал.

Николая обвиняли в мальчишестве, демагогии, карьеризме. Мой словарный запас исключает возможность передать все реплики зала и за его пределами. А он стоял и ждал.

— У вас все? — спросил председательствующий.

— Нет, у меня еще семь минут, согласно регламенту...

Зал затихал трудно. А он продолжал говорить, словно прошел этот гул насквозь, оставил его позади и сейчас стоял перед тишиной, видел тишину и в нее говорил.

— В подобной практике преступно винить только строителей. Она складывалась годами. Наше неуемное стремление рапортовать о перевыполнении планов наносит не только материальный ущерб. Оно парализует нашу мораль... Если правило становится исключением, а нарушение закона правилом — значит, мы присутствуем при рождении иною, порочного правила, и к его рождению причастен каждый из нас.

Неработающий лифт, отсутствие нормальных подъездов к дому — дискредитация не только строителей, хотя и их тоже.

Я хочу вам прочесть некоторые письма. Не спешите отнести их авторов в разряд обывателей.

Прошло семь, десять, пятнадцать минут, а он все говорил, письма ворохом топорщились на трибуне, и к тишине не надо было призывать. Никто не заметил, как письма были отодвинуты в сторону и твердый хрипловатый голос невозмутимо стал излагать принципы сетевого графика.

Председательствующий уже дважды напоминал о регламенте, но зал упорно отвечал недовольным гулом: «Пусть говорит». Все когда-то становится обыденным. Самое дерзновенное в прошлом не минует участия повседневной практики в будущем.

Сетевые графики не более чем производственный термин. Теперь это суть любой стройки, ее жизнь. А тогда было началом, загадочным, дерзким началом.

...Да...а, это была удивительная речь. Выступавший ничего не доказывал, никого не оправдывал.

— Сначала были мы,— говорил защитник,— каждый в отдельности. Потом мы — все вместе. И Николай тоже был... Не всегда замечаешь того, кто рядом. Тем невероятнее кажется открытие. Оглянулся — и не веришь собственным глазам. Человек стал больше, чем просто один из нас. Всем нам дано быть нужными людьми, но не всем — необходимыми. Ему, Николаю Климу, это дано.

Убеждать?! Кого и в чем? Да и возможно ли убедить тех, чье призвание — осуждать.

Я кончил и только тут отчетливо увидел молчащий зал.

И сразу зал перестал быть просто залом. И представилось мне, что суд совсем не суд, а очередной экзамен, где сейчас отвечаю я, а потом будет тащить билет Николай или Димка. И судья — это не судья, а профессор, по глазам которого я пытаюсь уловить, так ли невыносимо плох мой ответ. А заседатели — совсем не заседатели, а члены

экзаменационной комиссии, лица которых не оставляют у меня никакой надежды более чем на три балла.

Наверное, я должен был убедить прокурора, оказать воздействие на зал. Наверно... Но я об этом не думал, точнее — не мог думать. Я видел перед собой лишь невероятно большой тронообразный стул судьи и два поменьше — для заседателей; незыблемый стол и красное сукно на нем, блеклую маску судейского лица, лишенного всяких чувств. И больше ничего.

Что делать, мы не каждый день произносим речи общественных защитников.

В зале достаточно тихо. Я слышу, как дышат первые ряды. Вразнобой, громко, простуженно. Это было похоже на шелест. Он зародился где-то в середине зала, как судорога пробежал по рядам, захватил галерку... Я ждал реакции, но не ждал аплодисментов. Парни с первых рядов засвистели.

— Активиста выгораживают. Начальничка... — завопил тот же надрывный сипловатый бас.

Наши ребята вскочили и уже хлопали стоя.

В проходе появились три милиционера.

Судья решительно поднялась, обеспокоенно оглядела сидящих и, не остановив своего взгляда на ком-то определенном, сказала в разноцветный, удущливый квадрат зала:

— Если возобновится шум, я попрошу присутствующих освободить помещение.

Просить не пришлось. Шум разом стих.

— Объявляется перерыв, — сказала судья и стала быстро собирать бумаги.

Прокурор безразличным движением сбросил очки на стол и сразу стал близоруким и добрым.

Все поднялись. И только тут я заметил, как тесно и душно в зале. С треском отлетали назад откидные сиденья,

люди аппетитно зевали и медленно двигались по узкому проходу. Вдоль стены торопливо проталкивался усатый старшина, вспыхах извинялся — «прости ге, разреши-те», — привычным движением распахивал дребезжащие створки окон.

На лестничных площадках, где сосредоточились все курящие, стоял невероятный шум.

— Совещаются, — бросил мой сосед в сторону группы парней.

Парни услышали реплику и без особого дружелюбия стали меня разглядывать.

— Твою речь обсуждают, — продолжал сосед тоном за-всегдатая судебных разбирательств. — Поостерегись, нако-стылья могут. Таким море по пуп.

— Эти, что ли. — Димка привычно хрустнул пальцами.

— Они самые, — подтвердил сосед. — Ты вон на рожи посмотри, чистые уголовники. Молодежь пошла.

— Внешность обманчива, дяденька. — Сашка подхва-тил словоохотливого соседа под локоть и решительно под-толкнул его в сторону парней.

— Ты чего... Ты чего, — забеспокоился сосед.

— Ничего... — усмехнулся Сашка. — Хочу вас к объек-ту критики поближе подвинуть.

— Эх, — сокрушенно вздохнул сосед. — Все вы одним миром мазаны. Пижоны, — и зло сплюнув, засеменил вниз.

Парни действительно о чем-то спорили. До нас долете-ли обрывки фраз. «Он самый... Не тот, которого судят... Дура... Понимал бы что».

Толпа несколько склонила вниз. Можно осмотреться. На суде много наших. Настроение у всех паршивое. Ки-ваем друг другу и проходим мимо. Говорить ни о чем не хочется. Остается только ждать. Что-либо изменить уже невозможно. Сашка молча стиснул мне руку. «Спасибо», —

говорю я одними губами. Сашка понимающе кивает. Хороший он все-таки парень. Сергей стоит с Ленкой. Он чем-то недоволен. Наверно, не понравилось мое выступление.

Последнее время Сергею многое не нравится. Однако об этом потом. А сейчас мы стоим в облаке табачного дыма и разглядываем этих угрюмых парней с летнего бульвара, которые, как говорил сосед, могут накостылять. Каждый думает о чем-то своем. Лично я — об этих вот парнях. Мне хочется на них разозлиться. За что конкретно — я даже не скажу. Наверное, за все: за то, что хамят на суде, орут сейчас громче всех. От этого гула голова идет кругом. Я хочу разозлиться, но не могу. Во-первых, потому, что я устал, а во-вторых, юность каждого из нас не выглядела безоблачно.

Мне не видно их. Они стоят тесным кругом. Они ранимы. Я знаю, знаю точно. Недоброжелательность всегда порождает протест. Там, в зале, я их успел разглядеть. Есть молодые, есть чуть старше. В среднем лет по 20...

Существует такая терминология — приводы в милицию... У меня их было шесть. Так получилось.

Я много времени проводил на улице, той самой, которая, по словам моей хрупкой мамы, до добра не доводит. Порицать — еще не значит исключить из жизни. Улица была и будет... Важно другое — кто на улице. Вот именно — кто.

— После войны у нас не было иного места, кроме улицы...

Мы стали людьми, так, по крайней мере, нам кажется... Мы спешим воздать должное школе, преклонить голову перед родителями и обязательно осудить улицу. Словно в житейской круговерти на ее долю выпадают только непогодные дни.

Где-то тебя поджидает первое чувство, первое разоча-

рование, первое открытие. Не всегда в светлом классе, на комсомольском собрании, уроке литературы.

«Воздадим должное улице», — говорит твоя любимая учительница. На улице тебя поджидает первая драка.

Я смотрю на этих парней и невольно улыбаюсь...

Согласитесь, в каждом городе есть вот такой бульвар. Где-то он называется «летним», как в нашем городе; где-то «первомайским», где-то «профсоюзным» — неважно. Важно другое: он обязательно есть. Именно там сотнями собираются подростки и, вооружившись гитарами, транзисторами, темными очками, дефилируют из конца в конец, утверждая собственным видом абсолютную независимость.

Наш город не исключение. Весной и осенью состав гуляющих здимо обновляется, и «летний» бульвар становится излюбленным местом отдыха сотрудников милиции, с густым вкраплением скучающих дружинников. На этот счет говорили много и разное: дескать, праздники скоро, а отсюда и внимание усиленное. Понятно, порядок желателен. Им ведь с выработки платят. Хулигана задержал — получи премию. Вроде, значит, как предпраздничная вахта получается.

Те, что посолиднее, и слух пускали соответствующий.

— Праздники? Ха! Детский лепет. Все дело в амнистии. Указ тут один вышел. Закрытый, конечно. Такие вещи не напечатаешь. Международная обстановка... Соображать надо. Велено, значит, всех выпустить, акромя особливо опасных... И отныне нажимать на внушение. Ну, а как милиции это дело известно, вот она и бережет спокойствие граждан. Это вам не хухры-мухры. А страна... — Последнее говорилось конфиденциально и с пониманием дела.

Сначала мы этому удивлялись, но верили. А потом удивляться перестали. И верить тоже...

— Переживаешь?

Невольно вздрагиваю... У Димки нелепая привычка бить собеседника по плечу.

— Брось, ты сделал все, что мог.

— Какой толк, Дима. Суд удалится на совещание. Затем зачитают приговор. И наша с тобой речь сразу станет не больше чем букетиком цветов на могильной плите. Не стоит убеждать меня в том, во что не веришь сам.

— Ты не прав. Помнишь Харламова? Зря ты так... Примут или не примут во внимание. Это еще не самое главное. Могут и не принять. Ты сам говорил, мы должны быть ко всему готовы.

— Говорил. Но всегда надеешься на лучшее... и я надеялся...

— Не только ты, мы тоже. Ты же знаешь, я не верил в эту затею... Может быть, меньше, чем Сережка, но все равно не верил. Тогда я так и сказал — донкихотство. Ты обиделся. Так вот, я был не прав. Плевать на суд... Основное — Николай. Ему сейчас нужны силы. Ты выступил, и он знает — мы с ним... Мы не верим в его вину...

Я был так растроган словами Димки, что не сразу нашелся с ответом. А тут еще звонок... Нас приглашали в зал.

— Пойдем,— сказал Димка и взял меня под руку.— Теперь осталось недолго ждать.

Ему стоило многое сказать. Ладно, подожду до лучших времен...

— Пойдем.

## Тоже 4 июля

— Встать! Суд идет.

Зал шумно поднялся со своих мест.

— Можно сесть,— мягко сказала судья.

Однако все остались стоять...

— Народный суд в составе...  
Дальше шло перечисление фамилий.  
— Рассмотрел дело...

Я закрыл глаза. «Неужели все так и есть? И ничто не выдумано: и этот зал, и вялый милиционер за спиной Николая, и сам Николай с чуть запрокинутой головой, словно настроенный возражать судье, и прокурор с лицом хронического язвенника, которого затянувшийся суд заставляет нарушать режим, и свистящий придых соседа слева, видимо, больного астмой, и вся эта судейская канитель, перевалившая за четвертый час дневного времени,— все беспощадно, все на самом деле».

Монотонно гудит голос судьи, сдержанно покашливает зал, а я тихо проваливаюсь в зыбкий мир воспоминаний.

\* \* \*

Жарко... Так жарко, что каждые десять минут мы лежим в воду...

На озеро приехали мы втроем: я, Коля, Сережка. Сашка с Димкой заневестились... Кажется, будет дело...

— Сплаваем.

— Я пас,— Сережка переворачивается на спину.

Мы с Николаем забираемся обычно дальше всех. Сначала плывем брассом. Потом переворачиваемся на спину...

— Тут мы одни... Я хочу тебе что-то сказать.

— Знаю,— отвечает Николай.

— Откуда?

— Ниоткуда, догадываюсь. Тебе нравится Ленка...

— С чего ты взял?

— Достаточно поглядеть, как плавится на твоей роже восторг, чтобы сделать вывод... Либо ненормален, либо влюблен. Первое отпадает. Мы давно знакомы. Значит, второе...

— Ну, хорошо, пусть будет так,— соглашаюсь я.— Как ты на это смотришь?

— Плохо.

— Почему?

— Мне она тоже нравится.

— Поплыем назад,— предлагаю я.

— Как хочешь... Только ты зря расстраиваешься... Неважно, кто первый влюбился. Ты, я или Сережка.

— Как? И Сережка тоже?

Ни о чем не хочется говорить. Назад плывем молча. Потом валяемся на песке... Я не выдерживаю.

— Слушай, это все серьезно?..

— Не веришь, спроси у Сережки.

— Да ну тебя к черту... Она сюда придет?

— Наверно.— Николай лениво зевает.— Дуэль без зрителей — это не дуэль. А потом, должна же она кого-то выбрать...

— У тебя с ней что-то было?

Коля приподнимается на локтях:

— Вообще об этом не спрашивают.

— Знаю.

Солнце мешает мне разглядеть выражение его глаз...

— Нет, не было.

— Откровение за откровение. У меня тоже нет...

Откровение — бескompromissное слово...

\* \* \*

Вечер. Мы с Сашкой играем в шахматы. Сережка задрал ноги на спинку стула, читает Экзюпери. Димка с Николаем на баскетболе, скоро придут. В общежитии время от времени гаснет свет.

— Обормоты,— ругается Сережка. — Неисправимые обормоты.

- Сережка ставит томик на полку...  
В темноте дверь открывается. Лица не видно.  
— Мальчики,— говорит некто. Голос мягкий, певучий.— Шурик у вас? — Это Катюша из планового отдела. Сашкина любовь.  
— У нас,— отвечают мы хором.  
Сашка задевает доску. Фигуры шумно падают на пол.  
— Валяй, доиграем в следующий раз.  
Сережка закуривает...  
— Слушай, а чего Коли так долго нет.  
— И Димки,— поправляю я.  
— Ну да, и Димы.  
— Наигрывают новую комбинацию, наверное.  
— А-а... Сколько там времяя.  
— Восемь...  
— Библиотека до девяти. Я мигом.  
Врет. Пошел звонить Лене.  
Откровение. Удивительная вещь — кровь.  
...Утро. Сегодня воскресенье. Спи, сколько влезет.  
Кто-то теребит меня за плечо... Открываю глаза. Все лицо Николая в брызгах воды...  
— Вставай... Скорее вставай.  
— Что случилось?  
— Не спрашивай. Одевайся...  
Минут через десять все собираются в нашей комнате.  
Николай нервно потирает руки.  
— Все?  
— Да вроде бы.  
— Пошли.  
— Куда?  
— В парк. Быстрее.  
Вчера прошел дождь, бежать скользко. Карабкаемся на холм. Николай впереди. Скорее, скорее. В нашем парке таких холмов три. Этот — самый высокий. Иванов холм.

Говорят, в честь Ивана Грозного. Выскочили, кто в чем был. Наверху прохладно.

— Ну вот успели. Смотрите, отсюда хорошо видно нашу стройку.

— Ну и что? — равнодушно замечает Сережка.

— Подожди, сейчас.

Мы видим, как блекнет туман. Очертания корпусов все резче. Сначала это развалины старого города. Еще минута. Забытый порт, где стрелы кранов, как покосившиеся закрепления мачт. Светлеет кромка неба, контуры все отчетливее. И на размытую в утренней голубизне дугу горизонта, прямо на строительные леса тяжело выкатывается огненный шар солнца.

— Есть идея,— раздается за нашими спинами приглушенный голос Николая.

Нет сил оторвать глаз от стройки. Лучи ударяют нам под ноги. И золотистый свет обволакивает нас.

— Какая идея, Коля?

— Отныне мы — коммуна-5. Пароль — откровение. Возражения есть?

Возражений нет.

\* \* \*

— Почему ты не женишься?

Мы забрались в первую попавшуюся аудиторию. Время от времени к нам заглядывают заочники.

Уже битый час ждем Хлебникова. Надо получить разрешение на досрочную сдачу зачетов. Я хожу вдоль доски. Николай сидит за первым столом.

Его любимая поза — чуть откинувшись назад, нога заброшена за ногу.

— Недавно мне рассказали историю одной марки,— роняет Николай.

— При чем здесь марки? Разве ты не слышал моего вопроса.

— Слышал. Поэтому и хочу рассказать... Так вот. Это самая ценная марка. ЮНЕСКО определил ее стоимость в пятьсот тысяч долларов. Известно, что она была выпущена сто пятьдесят лет назад во Франции. Всего в трех экземплярах. Желтая, голубая и красная.

— Не понимаю, какое отношение это имеет к вам с Леной?

— Подожди, не перебивай. Одна из этих марок находится в личной коллекции Черчилля. Вторая является собственностью одного из крупнейших государственных банков Америки. А вот третья до последнего времени считалась потерянной... И вдруг на Международном конгрессе филателистов в одной из коллекций обнаруживается третья марка... Владелец коллекции живет в Ташкенте. Приобрел он эту марку случайно. Как и где приобрел, неважно. Это целый роман... Так вот. Когда ведущие специалисты путем экспертизы установили, что это именно та марка, владельцу предложили за нее сказочную сумму. Он подумал и отказался. Когда его спросили почему, он сказал: «Пока я владелец этой марки, моя коллекция лучшая в мире. Я не просто богатый человек. Я — единственный. Допустим, я ее продам и сразу стану очень богатым человеком. Но даже очень богатых людей — тысячи...»

— Ну и чем же все кончилось?

— А ничем. Теперь этого человека охраняет государство, так как номинально он владелец несметной суммы. Ему пятьдесят лет. Он уже составил завещание, по которому после его смерти марка передается государству... Но при жизни продать отказался.

— Какова же мораль?

— Мораль... — задумчиво повторил Николай. — Прекрасно то, что неповторимо.

— Чувства и недвижимость... понятия несопоставимые.

— Я знаю. Мечта всегда недостижима сразу. Уже заранее ты готовишь себя к испытаниям. И вдруг все свершилось само собой. Не надо никаких жертв. Ты — обладатель мечты.

— Значит, тебе повезло. Дуэли сейчас не в моде. Этому стоит радоваться.

— Наверное, но я не хочу везения. Испытания должны быть, понимаешь? Иначе мечта беспомощна...

— Ну а Лена? Она говорит что-нибудь?

Николай прикусывает губу.

— ...Она спрашивает, чего мы ждем.

— Что ж, ее нетрудно понять. Чувства невечны, они могут пройти. Житейское беспокойство. Нелепо же, наконец, придумывать испытания.

— Пройти? — Николай удивленно разглядывает руки.. — Нет... Нет. Так не бывает. Тогда это не моя мечта...

— Ты не прав,— неожиданно говорю я вслух.

Парень, сидящий рядом со мной в зале суда, равнодушно оглядывает меня с ног до головы:

— Чи-во?

— ...На основании статьи сто сороковой,— слышится судейский голос,— параграф шесть Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Климов Николай Петрович приговаривается к трем годам лишения свободы...

— Как? — не сдерживаюсь я.

Сосед усмехается, качает головой:

— Слушать надо. Три года впаяли.

Я осторожно вытираю испарину. Все. Ждать больше ничего.

Суд окончен.



**20 июля**

Его нет с нами. К этому трудно привыкнуть. Страшит не его отсутствие, а сама мысль, что к этому следует привыкать. В те дни для нас не было частностей. Все казалось главным. Это от неопытности. Позже мы поняли — главное свершилось, а частности еще будут.

ПОСТАНОВИЛИ: исключить Николая Климова из рядов ВЛКСМ. Какое-то невероятное сочетание слов. В это невозможно поверить. Мы считались неплохими комсомольцами. А он был попросту вожаком в прямом и переносном смысле этого беспокойного слова. Мы знали — устав есть устав... Человек, привлеченный к суду, механически выбывает из рядов комсомола. Суд состоялся: приговор зачитан, остаются формальности или те самые частности, которые еще будут. Собраться, проголосовать, заполнить протокол. Ну, а если совсем невмоготу — посетовать на превратности жизни человеческой. Мало ли, совесть шалить начнет. Ей тоже покой нужен... Тут и пригодится. «Досадно, конечно. Ох, как досадно, но что делать. Иначе нельзя... Устав есть устав...»

Дело не в том, чтобы все понять... Это трудно, но возможно... Неизмеримо труднее пережить, привыкнуть.

Комитет комсомола стройки собирался трижды. Значит, не все потеряно. Сомневаемся не только мы. Хотели написать Харламову. Затем передумали. О чем писать? Повторять сказанное глупо. А нового что сообщишь... А через месяц узнали: Харламова переводят в Москву.

«Жаль,— написали мы в телеграмме,— но все равно поздравляем».

— Теперь в нашем деле будет участвовать рука Москвы,— мрачно попуттил Сергей.

Харламов уезжает — эта мысль преследует меня весь вечер и половину следующего дня. Не просто преследует, рождает состояние какой-то неосознанной до конца тревоги. Так бывает. Поезд вот-вот отойдет. Прощание скомкано. А слова, которые должно произнести, так и остались невысказанными. И чувство тоскливого разочарования будет преследовать вас на протяжении всего пути. Собственно, кто такой Харламов? В сущности человек для нас неизвестный... Пришли, встретил, нашел время выслу-

шать, выразил готовность помочь — вот, пожалуй, и все... Остальное за пределами видимого, можно лишь догадаться. И все-таки Харламов нечто большее. И не общественное положение тому причина. Нет. Человеческая значимость, готовность понять...

Когда в обеденный перерыв Сашка разыскал меня в диспетчерской и прямо с порога заорал: «Харламов звонил», я не удивился... Так и должно было случиться...

И даже надменный сарказм Сережки: «Скажите, их сиятельство изволили вспомнить... Правда, после телеграммы, но это не так важно. Великие мира сего забывчивы», даже это не может испортить настроение. Я не стану отвечать Сережке. Поссориться всегда успеем. И мучить Сашку вопросами, что и как, мне недосуг. Наскоро собираю графики. Нужный мне бульдозер я так и не выколотил, помешал Сережка... Диспетчер хитер... «Договоритесь с Тельпуговым. Я не возражаю...» А как договоришься, если Сергей Тельпугов пришел сюда специально, чтобы не дать бульдозер...

— Ладно, Сашка, бежим.

Сережка покусывает ногти.

— Ты с нами?

— Да нет. Я бригадиров вызвал.

— А... Ну, ну... Тоже дело.

Сашка не умеет скрывать любопытство. Он тут же встrevает в разговор...

— Чего вы не поделили?

Я смотрю на Сергея, который не очень расположен отвечать, на Сашку, его вздернутые брови, похожие на вывернутые запястье, что может означать лишь интерес повышенный, на хитрого диспетчера с его заинтересованной спиной... Неожиданно зло толкаю дверь. Что есть — все наше...

Воздух в несколько слоев над землей. День жаркий, а

солнца не видно. Антрацитовый дым, как рог изобилия, свинтился в заваленный куль, не шелохнется. Пахнет жженым мазутом. Где-то рядом истерично взвизгивает электрошила, басовито икает паровой молот. Молодцеватый кран не без лихости откидывает вниз чугунную бабу пудов на сорок весом, отчего старая стена лишь виновато оикает. Все это разом наваливается на тебя, тычется в глаза, уши, вороненой гарью и желтой пылью оседает на волосах.

Бежишь, как сквозь ад кромешный, и слышится тебе: «Ты вот и уйти можешь. А нам каково?»

Стройка дышит, потягивается, хрустит суставами.

\* \* \*

Я не ждал многоного от этого разговора, точнее, не знал, чего ждать.

Он взял трубку сам. Было время обеда. Я назвал его по фамилии. И он засмеялся. Я сказал «извините». Он засмеялся еще громче... Потом трубка успокоилась, и он спросил, как мы.

Я ответил, что по-прежнему. Мне хотелось рассказать про суд, и я начал рассказывать. Харlamов перебил меня... «Не надо, я все знаю». Больше мне говорить было не о чем, и я замолчал.

— У нас мало времени,— сказал Харlamов.— Мы, вероятно, уже не увидимся... По этой причине не судите строго за монолог, а просто наберитесь терпения и выслушайте...

Я уезжаю. Это не значит, что я перестаю существовать как ваш союзник. Не делайте из случившегося драмы... Чудо не свершилось. Оно и не могло свершиться.

Обязательно зайдите к Фролову... Не упрямьтесь. Зайдите. Климов будет отбывать срок недалеко от города. Вы сможете его навещать. И еще одно. Не ищите у людей

сочувствия... Вы сильные парни, и в нем не нуждаетсяесь. Ищите, а еще вернее, деритесь за понимание. Сейчас важно быстрее прожить эти три года... Его будут вычеркивать из списков. Не удивляйтесь этому. Инерция отчужденности существует. Не давайте о нем забыть. Важно, чтобы люди всегда воспринимали Климова, как настоящее, реально существующее. А для этого есть вы. Время в обрез... Многое не скажешь. Надеюсь, это не последний наш разговор, а значит, и встреча. Желаю удачи. Она вам не помешает. Мне пора.

Мы попрощались. Трубка настойчиво повторяла отбой, а я еще долго стоял, будто мое ожидание могло что-либо изменить.

\* \* \*

Все вместе соберемся только вечером. И Сашка обязательно спросит.

— Ну, как там Харламов?

— По-прежнему,—отвечу я, а затем в точности передам наш разговор, не прибавив и не убавив в нем даже вздоха... Нам будет чуточку грустно.

Мы не настроены спорить. И потому наше молчание длится дольше обычного. Но типина не всегда равнозначна покойю. И чувства каждого из нас есть не более чем свое преломление мира.

— Н-да,— нарушил молчание Димка,— считай, проводили.

И разом все задвигаются, готовые внести свою долю откровения в общий пай.

— Может, и не обратишься никогда,— скажет вдруг Сашка,— и не встретишься. Пусть так. Разве в этом суть? Знать, что есть такой человек. И вроде жить легче... И ни где-то за тридевять земель, в тридесятом царстве, а здесь, в городе твоем.

— Вам претит мое неверие, но я оказался прав... — Сережка сделает многозначительный круг по комнате. — Великий гуманист благородно покинул поле боя... Предоставив нам самим лечь на амбразуры. Мы же сильные парни и не нуждаемся в сочувствии.

И тут повернется Димка и, конечно же, скажет.

— Тебе бы по зубам дать, да вот настроения нет.

Сережка презрительно фыркнет и снова начнет кружить по комнате.

Сашкин взгляд потребует моего вмешательства: «Ты начал, ты и кончай».

— Сашка прав... Максимализм присущ молодости, — скажу я, — однако не лучшая ее черта.

Сережка остановится, прищурит глаза и станет мерно раскачиваться из стороны в сторону.

— Исполняешь роль пророка.

— Нет, просто надоело твое брюзжание.

— Не нравится, могу уйти.

— Вот как? Ну если можешь, валяй...

Все разом подвинутся к столу.

Кажется, я бросил на весы больше, чем положено. У меня влажнеют ладони. Тишина в комнате перестает быть только слышимой. Она зrima.

Сережка морщит лоб. Нужны какие-то значительные слова. Сережка этих слов не находит.

— Ладно, — бормочет он... — Молчу. Я пошутил...

Он пошутил, не правда ли, он очень удачно пошутил?

Оцепенение со временем пройдет, и тогда я скажу все то, что хотел сказать: о максимализме, который объясним, о максимализме, который чреват, когда совершенное приравнивается к нулю...

Нас всех мучает один и тот же вопрос: «А было ли совершенное?» И я отвечу — было. Не могло не быть. Ничто в жизни не происходит просто так... Три всегда меньше

пяти. Об этом не следует забывать. Лучшее всегда с чего-то начинается... И если мысль — явление активное, значит, лучшее начинается с желания сделать лучше.

## 20 июля

Время рождает мудрость. Истина по-своему очевидная, но путь к ней каждого из нас не равнозначен... Существует мир, в котором ты живешь: встречаешь людей, себе подобных, людей не похожих, мир, где тебе сопутствует удача или ты пожинаешь беду; где любовь преходяща, как времена года. Мир неизменный, раз и навсегда открытый, отданный тебе в пользование... Мудрость не пыль веков и не пепел истории. Мудрость невидима — она в глубине дня, часа, минуты. И ты никогда не готов к ответу. Кто из людей, тебя окружающих, способен войти в твой мир и перевернуть его... Способен покинуть его, и тогда мир перевернется сам, ибо потеряет равновесие.

А может, мы всего-навсего попали в другое измерение того же самого мира.

Были просто Лена и просто Николай... Девчонка и парень, с которыми ты коротаешь время... Но когда-то случается, неминуемо случается... И уже нет просто Лены и просто Николая, а тебе суждено открыть часть мира, сведенного в формулу «ОНИ». И очень скоро, так скоро, что даже не верится, ты замечаешь: познанное тобой равно нулю. «Они» неизведанная клетка мира.

Я ей звоню уже пятый раз... Автопарк не отвечает. Набираю справочное, прошу другой номер. То же самое. Никто не берет трубку. Нелепость: ей давно пора стать действующим лицом в этой истории.

Она должна понять — звучит слишком категорично... Она сумеет понять.

Первое посещение — только мы четверо. Необходимо увидеть собственными глазами, почувствовать, пережить.

Но почему так? Разве не логично — сначала тот, кто ближе? Нет. Это не загородная прогулка. Сначала тот, кто сильнее. У нее будет достаточно времени. А начинать нам, и никому больше.

Что ж, со стороны мы неплохо выглядим. Наш гуманизм оправдан. Мы не только друзья. Мы еще мужчины. Все закономерно: так хотели мы, так было.

И вдруг желаемое обернулось своей противоположностью. Взрыв нашего благородства оказался не больше чем буря в стакане. Глухарева оградила себя сама, без нашего участия.

Нас трудно удивить. Все, что могло случиться, случилось. Мы едем к нему первый раз... Мы едем второй, бесспорно, будет третий, пятый, десятый. Но разве суть в этом. Тысяча оправданий: «Не знала». Так принято, предупреждали всегда мы. «Мне нужно прийти в себя». Логично. Мы сами настаивали: сначала те, кто сильнее.

Нет, нет, я не порицаю. Я просто хочу уяснить существо. Должна же она когда-то возмутиться, потребовать справедливости, если справедливое так очевидно...

Не требует, не хочет требовать. Боязнь, робость, крушение надежд — все это может существовать где угодно и когда угодно. Но только не в том мире, где есть мы и Лена Глухарева.

— Коммутатор, дайте мне город. Сначала автопарк, потом... Потом посмотрим.— Невозмутимости телефонных аппаратов можно позавидовать.— К черту,— вырывается у меня.— Торчать здесь... Придется ехать.— В приемной главного инженера я один. Звук собственного голоса, усиленный пустотой комнат, заставляет меня вздрогнуть и машинально повернуться к двери.

Сергей стоит, широко расставив ноги, отчего кажется чуть ниже своего роста... Я не слышал, как он вошел.

— Ты здесь — это не удивительно. Можешь не звонить.

Маленькое отступление от сценария. Лена будет завтра ровно в час. Я ей все передал. Не столь назидательно, как сделал бы это ты... Ну, ничего, есть еще завтра... У тебя будет время исправить мою оплошность.

— Торопливость. На тебя это не похоже, Сережа.

— Сам удивляюсь...

Я пожал плечами. Мало ли совпадений. Уже гораздо позже я понял — тут не было случайности. Мы в одинаковой мере озадачены. Он — моим нежеланием о чем-либо расспрашивать, я — его упорным молчанием. Две-три ничего не значащих фразы, и мы разошлись.

Разговора не получилось... И то, что он состоится завтра, слабое утешение. Что возможно сказать сегодня, не всегда уместно в разговоре через день... Мы теряли Ленку. Нам следовало заметить, кто и когда толкнул снежный ком с горы. Не заметили. Еще вчера существовала сумма — мы. И все совершенное в пределах этой суммы было объяснимо. Нынче этой суммы не существует.

\* \* \*

Вообще посещение разрешалось один раз в месяц... Хочешь принести передачу — ради бога. А посетить — нет... Общий порядок. Но, как говорится, хождения за три моря без пользы не бывает. Где-то попросили, кому-то написали, с кем-то договорились. Выдали нам авторитетную бумагу. На полном законном основании: три печати, четыре подписи. И так повернешь — «разрешаю» и этак — «возвращений не имею». Внушительный документ.

Спасибо Харламову. В этом деле его голос как нельзя кстати пришелся. Когда неудачи в привычку, даже крохотная победа становится триумфом.

Взял я это разрешение, перечитал несколько раз и решил ехать к Лене. Если нам радость, то ей вдвое. На



новой квартире я у нее еще не бывал. Месяц-полтора назад Лена переехала из общежития. Снять в нашем городе комнату не так просто. Меня это несколько насторожило. Но Лена благополучно устроилась, сказала, что довольна, и повод для беспокойства пропал сам собой... В конце концов где жить — ее дело... И вот теперь, месяц

спустя, я подъезжал к ее дому и невольно вновь вспомнил об этом переезде, который можно назвать внезапным и малопонятным. А еще я вспомнил, что истинных причин ее переезда, видимо, никто из нас не знает.

...Она показалась мне несколько растерянной. Я это заметил сразу.

Мне не хотелось отвечать на нелепые вопросы: что случилось, почему не предупредил?

— Ты знаешь, мы получили разрешение посещать Николая два раза в месяц.

— Хорошо,— сказала Лена и еще плотнее стянула на коленях полы халатика.

— Да нет, ты меня не так поняла... Для всех посещение один раз в два месяца. А для нас — два раза в месяц.

— Хорошо,— еще раз повторила Лена и посмотрела на себя в зеркало.— Я все поняла. Коля будет доволен. Только надо выбрать такие дни, чтобы я не пропускала занятия в секции.

Последнее время она занималась гимнастикой. Николай надоумил.

Я ничего не ответил, не нашелся. Я только подумал: ему будет очень приятно. Она так увлечена спортом...

И мне сразу расхотелось ждать приглашения в комнату, в которой, конечно же, не прибрано. И извинения — «Нет ничего к чаю... Сам виноват. Должен был предупредить» — не могли удивить меня.

## 26 июля

Узнав о случившемся, ректор института Пал Палыч Хлебников уронил дремучие брови на еле заметные прорези глаз и многозначительно изрек:

— Вот как... Климов... Климов... Припоминаю... Высокий такой, с залысинами, в очках. Да... Да... Я тогда еще

обратил внимание на этакую нагловатость во взгляде, внешнюю развязность...

— Видите ли, Пал Палыч, пожалуй, это не Климов,— слегка тушуясь, заметил проректор.— Климов действительно высокий, но без очков. Помните юбилейный вечер, он читал пародии...

— Пародии? А... Ну, ну... Как же... как же... Помню... М-да... Все закономерно, двусмысленность в выражениях, стремление произвести эффект. Такие черты никогда до добра не доводили.

— В общем-то он студент способный...

— А кто утверждает, Савелий Демьяныч, что все преступники дураки. Я, мой дорогой, могу массу примеров привести, как на скамью подсудимых садились одаренные, более того, талантливые люди. Н-да... но, мерзавцы. Так что подготовьте приказ об отчислении.

— Но ведь он...

Ректор с неподдельным удивлением взглянул на своего помощника, в задумчивости пожевал губами и довольно резко заключил:

— Никаких но, никаких нет, никаких может. Институт не трудовая колония Макаренко, Савелий Демьяныч,

\* \* \*

## 27 июля

О настроении Хлебникова нам стало известно на следующий день. Против ожидания, ректор принял нас сразу. У него беспокойный взгляд и хроническая астма. Говорит он медленно, растягивая слова, отчего каждое из них приобретает вес целой фразы.

— Отпуск на... пребывание в тюрьме законодательством не предусмотрен. Н-да... Понимаю, негуманно, но... не предусмотрен. Когда ваш друг вернется, будем обсуждать

проблему. А сейчас давайте займемся делами насущными.

Вспылить легче всего. Но что это даст? Хлебников эмоции не воспринимает. «Займемся делами насущными». Как ему объяснить, что Климов не виноват.

Не виноват. Это ясно мне, Сашке, Сереге, Димке, но не Хлебникову. Я смотрю на ребят. У Сашки на коленях обломки истерзанных спичек — переживает.

Димка совсем плох. Вчера 38, грипп. Какая-то азиатская форма. Говорят, с этим нельзя шутить. Да мало ли с чем нельзя шутить. Однако парень держится. Только вот глаза из синих превратились совсем в свинцовые и стали невероятно большими. А вот Сережке я завидую. Этот как монолит. Погрузился куда-то в себя, и все. Редкое свойство.

— Пал Палыч,— начинаю я,— мы вас не просим о чем-то исключительном, тем более что Климов...

— Знаю... Знаю...— хрюпит Пал Палыч, и волосатая рука ректора, сделав три положенных взмаха, возвращается на стопку книг.— Не виновен, сочетание случайностей, произошла ошибка... Все знаю. Однако уважаю советский суд и не имею основания не верить ему. Не имею... Н-да-с.

Мы еще что-то говорим, но это уже больше так... Об упрямстве Хлебникова ходят анекдоты.

\* \* \*

Иногда поступки совершаются машинально. Мы каждый день с кем-то разговариваем, кого-то уламываем.

Поездки к Николаю превратились в своеобразные временные вехи. Мы так и говорили: «Это нужно закончить к десятому августа»... или «Лучше, если вчера мы все оговорим до пятого сентября». И никому не приходило в голову задать вопрос: почему до десятого августа и при чем здесь пятое сентября. Желание сообщить ему что-то

новое, доброе стало негласной потребностью для нас.

Безрадостный итог прошедшей недели доконал, вывел из себя. Все было бы не так тоскливо, если бы об этом не приходилось рассказывать ему.

Из комсомола исключен, из института отчислен. Ребята измотаны. У меня не поворачивается язык предложить встречу с Фроловым. Конечно, мы — это мы... Однако существует и каждый в отдельности, со своими заботами, увлечениями, странностями.

А летний вечер на зависть как хороши. В институтском парке запах свежего сена, каждую неделю подрезают газоны. Липы отцвели, а все равно пахнут. Даже не верится, что где-то за этой тишиной, пересвистом зябликов существует наша стройка, с грохотом, пылью, запахом мазута и каленого металла. Сейчас мы разбредемся кто куда. И правильно... Сашку определенно у кинотеатра «Факел» ждет Катюша, которая называет Сашку ласково — Шурик... У Димки одна забота: Димка тянет на мастера спорта. Алексеев — наш тренер — сказал недавно, что Димка — самородок. По этой причине Димка даже в весе прибавил... Куда завихрится Сережка, я не представляю... У Сережки новое увлечение — лошади. Пока это только разговоры. Но чем черт не шутит. Надо знать Сережку.

А вот мне деться некуда. Я не настроен играть роль положительного героя, и тем не менее я пойду к Фролову. Иначе эта идея не даст мне покоя... Тащить с собой ребят — глупо. Еще не известно, что получится... Уж больно Харlamов был настойчив... А ведь Харlamов не дурак. Нет, не дурак.

— Значит, кто куда, — бросаю я на ходу.

Ребята чуточку озадачены. Первым приходит в себя Димка:

— Капитан разрешил увольнение на берег.

— А что делать?

— Тогда чаоб...

Забавно, а все-таки людям очень идет улыбка.

Я зря переживал. Разговор с Фроловым не состоялся. Я вошел в управление, когда он спускался по лестнице, навстречу.

Я поздоровался. Он рассеянно ответил. Прошел мимо, потом обернулся...

— Простите, вы ко мне?

Я не очень уверенно кивнул. Он должен меня помнить. При назначении Фролов беседует с начальниками участков сам.

— Вы, кажется, один из тех?

— Каких? — переспросил я.

Фролов еще раз посмотрел на меня и сказал:

— Вы Максимов, с третьего участка. И приехали говорить со мной по делу Климова.

— Да, по делу...

Петр Константинович Фролов — начальник стройки. Для людей сведущих этим сказано все. Для иных же — название административной должности и не больше.

Строительство химического комплекса — девятая стройка в сознательной жизни Петра Константиновича. Добавление о сознательной жизни принадлежит самому Фролову.

Бесспорно, мы немножко идеалисты. Нам хочется, чтобы люди, окружающие нас, были в чем-то необычными. Так случается далеко не всегда, и тогда наше восторженное воображение эти необычности придумывает.

С Фроловым нам повезло. Он принял строительство, и вместе с ним на стройку пришли маленькие легенды о новом начальнике.

Высокий, с крупным обветренным лицом, с сединой, напоминающей мыльную пену, неторопливым голосом, он смотрелся со стороны человеком грузным и плохо приспособленным к неустроенным кочевой жизни.

Велико же было наше удивление, когда Фролов появлялся на твоем участке, и ты, выбившись из сил, тащился где-то сзади, никак не поспевая за его уверенным размашистым шагом. Он вряд ли был излишне демократичен. Уже на шестой день его работы заговорили о твердой руке нового начальника. За глаза его звали аккуратистом. Одну из планерок Фролов отменил лишь из-за того, что трое начальников участков пришли на нее небритыми.

Потом настала очередь главного механика, человека суетливого и на редкость неряшливого. Каждый раз при его появлении Фролов морщился, однако говорить ничего не говорил.

Где-то в середине одного из дней (был, кажется, май), когда все дела уже были решены, Фролов поднялся из-за стола и сказал: «Сегодня у нас особенный день — родился главный механик стройки. Думаю, что все добрые слова, которые заслужил этот человек, вы ему выскажете. Давайте поздравим его и преподнесем наш скромный подарок».

Перед механиком поставили внушительный плоский пакет. Его тут же развернули, и новорожденный оказался перед громадным полутораметровым зеркалом... Механик увидел себя в зеркале, побледнел и сказал: «Ой!»

Но знаю, кто быстрее привык: Фролов к стройке или стройка к Фролову. Только очень скоро в городе иначе и не говорили — фроловский объект. Куда поехал? К Фролову. Где был? У Фролова. Может, и не видел Фролова и знать не знал, а был все-таки у него.

Я стою перед ним. У него усталые с вялыми надбровьями глаза.

— Так, так,— говорит Фролов.— Почему же вы не пришли ко мне до суда?

— Разве это могло что-то изменить?

— Хм... Наверное, нет. А впрочем, кто знает.

Фролов неудобно поворачивает голову, словно ему ме-

шает тугой воротничок. Замечает на плече пушинку. Щелчком смахивает ее.

— Жаль, совсем нет времени. Меня ждут в обкоме партии. Мы могли бы интересно поговорить. Ну да не последний день живем. Вот что, загляните ко мне во вторник, в это же время...

Я чувствую неловкость от этой беседы на лестнице. И может, мое поведение не выглядит слишком решительным.

— Хорошо,— соглашаюсь я.

Фролов машинально теребит пуговицу плаща.

— М-да... Послушайте, вы ведь навещаете Климова...

— Да. Два раза в месяц...

— Ну и как он?

— Даже не знаю, что сказать. Там ведь хорошо не бывает.

— Действительно, глупый вопрос. И когда же следующий раз?

— Завтра, в воскресенье.

— Так даже.— Фролов задумывается. Кожаная папка, с которой он никогда не расстается даже на объекте, оказывается в левой руке, сейчас он тихонько поддает ее коленом.

— Ваш друг — хороший специалист,— роняет Фролов, разглядывая что-то поверх меня. Он стоит выше, ему это удобно.— Я бы даже сказал, необходимый стройке специалист... Нам его очень не хватает... Скажите ему об этом. Мы ждем его. Он мужественный человек. Для меня большая радость работать с такими людьми, как Климов... Так и передайте ему.

— Спасибо.

— При чем здесь спасибо... Сейчас на его участке Тельпугов работает?

— Да, Тельпугов.

— Тут недавно был у меня Игин.— Фролов на минуту замешкался.— А впрочем, это дело Игина. До встречи. Да, вот еще что. Вы ему приносите книги. Больше книг.

Фролов быстро спускается по лестнице, ловко перескакивая через одну ступеньку. Я слышал, ему за пятьдесят. Странно, а на лицо он гораздо старше.

И до суда и после него я не раз спрашивал себя: «Почему Фролов не вмешался в эту историю?» Он знал нас. Он вообще принадлежал к той категории людей, которые больше всего полагаются на собственное восприятие.

Сейчас модно говорить о молодежи, о том, что ей надо доверять и выдвигать ее непременно. «Общество переживает интеллектуальный взрыв, а это, знаете ли, чревато». Попасть на такой разговор приятно, ощущение такое, словно тебе в бане кто-то спину хорошо потер.

Фролов был человеком дела и, может, потому говорил на эту тему меньше других. Он делал ставку на молодых. Об этом знали все. Кто-то морщился, кто-то разводил руками, говорили, что все это преждевременно, иные улыбались. Большинство же было настроено молчать, «поживем — увидим».

Фролов частенько приезжал на шестой участок. Последнее время даже поговаривали, что переход Климова в управление — дело месяца, от силы двух. Эту новость, как и все иные, по привычке связывали с именем Фролова. И вот когда все произошло и первый шаг остался позади, мы не очень осмысленно посмотрели друг на друга и разом сказали — Фролов...

На что мы надеялись? Когда ничего не знаешь, надеешься на все. Несведущий человек всегда оптимист. Мы попросту не допускали, что существует иная точка обзора событий, нежели наша...

Он приехал в суд рано утром. У каждого из нас есть свои привычки. Петр Константиныч все неприятные дела решал только с утра.

Судья, ей было около сорока, неловко оправила волосы, заметила свой стертый маникюр, смущилась еще больше. Она ничего не сказала, просто виновато улыбнулась, будто извинялась за этот глухой коридор в кусках рваного линолеума, людей — их было здесь много — с какими-то тусклыми, обидчивыми лицами и вот свою неподготовленность к этому разговору.

Высокий, настолько, что занимал почти весь дверной проем, с крупными очень спокойными руками, он выделялся в этом сдавленном помещении. И рост, и даже одежда, дорогая, ладно сшитая, выделяли его еще больше. Люди проходили мимо, оглядывались, шли дальше и все-таки находили возможность оглянуться еще раз, будто никак не могли понять, что делает этот ухоженный человек здесь, где и по рангу, и по необходимости пересматривают человеческую беду.

Стоять рядом с ним, видеть его участие было приятно. Теперь уже все обращали на них внимание.

— Пройдемте ко мне,— сказала судья.

Фролов поклонился, дал понять, что именно это ему и нужно, однако куда идти, он не знал.

Теперь уже судья почувствовала превосходство над этим крупным, чуточку растерянным человеком. Она посмотрела на его безукоризненные ботинки, белый манжет — он выглядел ровно настолько, чтобы быть замеченным. Человек был опрятен до мелочей, и это судье понравилось. Неряшливость, которую выдавали за небрежность, раздражала ее.

«Он из другого мира, этот человек,— подумала судья.— Что ж, тем лучше!»

Она еле заметно улыбнулась и чуть слышно сказала:

— У вас там, конечно, иначе.

Где там? И почему «там» должно быть иначе. А может, «там» включало в себя весь мир за пределами темного коридора и этих комнат-клетушек, где всегда пахло дешевыми папиросами и пылью.

— Привыкайте, это тоже жизнь.— Она повернулась и быстро пошла в провал коридора.

Теперь они сидели друг против друга. Здесь было всего шесть стульев. Их вряд ли могло быть больше. Остальное место занимал стол и шкаф с десятком массивных книг. Портрет Менжинского чуть покосился, отчего и комната выглядела чуть кособокой.

Он сел на предложенный стул и хрипловатым голосом сказал:

— Я Фролов.— Минуту подумал и тут же пояснил: — Петр Константиныч Фролов, начальник стройки.

— Слушаю вас, Петр Константиныч.

— Мне сказали, что разбирательство дела Климова поручено вам?

Лицо судьи сделалось сразу непроницаемым и холодным.

— Какое это имеет значение? Или вы имеете к нему что-то добавить?

— Нет, нет... Впрочем, я и не настаиваю на вашем ответе. Видимо, это считается у вас производственной тайной?

Они помолчали.

— Мой визит к вам и случаен и закономерен. Только, ради бога, не смотрите на меня так.

— Как? — Ее глаза чуть оживились.

— Я не собираюсь оказывать на судью давления. Так, кажется, у вас говорят? Бывают минуты, сомневаешься в себе самом. Кто знает, где подстерегает тебя это сомнение. Климов — прекрасный парень. Он и еще десяток таких же,

как он,— моя надежда.— Фролов закашлялся.— Наша надежда.

— Возможно.— Судья поправила календарь.

— Как вы думаете, чем кончится этот суд?

Она пожала плечами:

— Приговором...

— Да, но каким?

— Петр Константиныч, вы не понимаете или не хотите понять — ваш приход сюда очень некстати, собственно, как и весь разговор.

— Скажите, сколько вам лет?

— Это не относится к делу.

— Вы никогда не думали о том, что я сейчас сниму трубку и позвоню генеральному прокурору?

— Вам виднее.

— Значит, думали. «Я с прокурором накоротке — пусть звонит».

У него вдруг пропало чувство мучительной неловкости. Ему даже стало смешно.

— Трудно жить, когда в каждом видишь потенциально-го преступника.

— Еще труднее, когда тебе мешают увидеть преступника истинного.

— Вы считаете, он виновен?

— Если дело поступит ко мне, я ознакомлюсь с его подробностями.

— У вас можно курить?

— Можно, но лучше не надо.

— Простите.

Он стал суетливо пихать мятую пачку в карман. Сигареты крошились. Ей было видно, как рассыпается табак.

— Неужели вам непонятно? Я пришел сюда, чтобы утвердиться в своей правоте.

— Мне казалось, для этого у вас было время. Следствие шло более двух месяцев.

— Да, вы правы. Точнее, шестьдесят семь дней. Погибли люди, человек должен отвечать. Разве не так?

— Я знаю.

— Ах, боже мой, все-то вы знаете.

— Как мне помнится, Петр Константиныч, именно вы подписали протоколы комиссии?

— Я. И дело в суд передал я. Наверно, это трудно понять. Существует какой-то высший, определяющий критерий твоей правоты или неправоты.

Перед законом все равны, это, кажется, тоже из ваших аргументов... Однако все равны не только перед законом. Все равны перед жизнью. Да-да... Все мы начинаем с исходной точки. Вам легче. Мы, мое поколение, доказали вам: можно, не имея ничего, взять от жизни все. Мы презирали исключительность. Мы сотворили ее из ничего — эту самую исключительность.

Климов талантлив. Способнее многих. Если хотите, он мой ученик. Не в прямом, переносном смысле. Случилась беда. Возможно ли было уступить? — Фролов повысил голос. — Возможно. — Он сделал паузу и растерянно посмотрел на судью. — Какая нелепость, я даже не знаю вашего имени.

— Надежда Ивановна...

— Простите.

— Ничего, я привыкла...

— Так вот, Надежда Ивановна, я не уступил. Я проявил принцип. Я остался верен тому высшему критерию морали, который выработал сам. А теперь, когда хода назад нет, я вдруг усомнился. А если испытание, на которое ты его обрек, сломает человека? Тогда это не твой ученик. Ну и что? — подумал я. — Неужели живем только ради того, чтобы в ком-то признать самого себя. Пусть они остают-

ся нормальными людьми — это не так мало. Может быть, я проповедую устаревшую философию? Я бесчеловечен? Нелепо звучит, но я люблю этого мальчишку. Он мне годится в сыновья.

Надежда Ивановна посмотрела на часы.

— Не знаю, что вам сказать. Состоится суд. Он все решит. Могу вас заверить: это будет честный и объективный суд.

Фролов смотрел прямо перед собой и, казалось, не слышал слов судьи.

— Всю жизнь проповедуешь честность, и понять трудно, отчего сомневаешься, будто услышал где: «Милый мой, все течет, и все изменяется. Нельзя жить старыми догмами». У вас никогда не возникало сомнения в своей правоте, после того как вы вынесли приговор?

Судья подобрала свои пухлые губы, отчего ее лицо стало обиженным.

— Любое решение суда подсудимый может обжаловать, иначе — апеллировать в высшей инстанции.

— Я не о том, голубушка. Не о том. И инстанция утвердит. А вот сомнение останется. Неужто не было?

— Нет. И потом, у нас есть закон.

Фролов утвердительно кивнул головой.

— Ах да, я и забыл... Наш суд самый демократический суд в мире. Вы это хотели сказать?

— Не понимаю вашей иронии.

— А ее и нет, Надежда Ивановна. Какая уж тут ирония.

Фролов встал. В кабинете сразу стало тесно.

— Ну-да, — рассеянно пробормотал Фролов. — Вам, как уходят, видимо, правосудия желают. Ну что ж. Будьте здоровы.

Было слышно, как скрипит пол под его тяжелыми, уверенными шагами.

Она посмотрела на часы, торопливо сняла трубку:  
— Коммутатор, приемную генерального прокурора.

\* \* \*

Ах, если бы обо всем знать заранее.

## 10 августа

Будем считать — завтра наше первое посещение. Завтра. А сегодня должна забежать Лена. Надо договориться, как поедем. Это недалеко. Минут пятьдесят на электричке, но все равно договориться надо.

Настроение скверное. Я уже говорил, едем к нему четвертый раз. Так получилось. Лена об этом не знает. Для нее завтра первое посещение. Отсюда и беспокойство.

У нас обеденный перерыв. Сергей сидит на штабеле перекрытий и что-то подбирает на гитаре. Говорят, у него хороший голос. Может быть. У меня на этот счет особое мнение. Сашка с Димкой играют в шахматы.

— Вот когда ты молчишь, в тебе появляется что-то чисто итальянское, — цежу я сквозь зубы и направляюсь к шахматистам.

На этот раз Сергей не обижается. Он передает гитару соседу и подходит к нам.

— Удивительно, отчего бы это, — не успокаиваюсь я. — Люди, которые не имеют слуха, всегда порываются запевать или что-нибудь мурлычат себе под нос.

— Очень остроумно. — Сергей лениво хлопает в ладони. — Пять копеек.

Бессмысленно смотрю на доску.

— Слон Ж-6.

Саша не скрывает удивления.

— С... с... старик, ты зря волнуешься. Все бу... бу-дет о'кей. Мы же идем в... в... вместе.

Он прав — я волнуюсь. И вряд ли буду волноваться меньше, когда она придет. Первый раз увидеть человека другим. Это не просто встреча. Иной мир, где краски блекнут и красоту мало различить, ее надо понять. Он прав, я очень волнуюсь.

— И потом, старишок, слон Ж-6 — потеря ладьи...

Плохо соображаю, о чем говорит Сашка, хотя машинально киваю головой. Все правильно. У нас отличные ребята.

— Кажется, идет, — роняю я невпопад хрипловатым голосом.

Ребята встают.

— Она сегодня че... чертовски к... к... красива, — выкладывает Сашка.

— Она всегда красива, — угрюмо бормочет Сергей и отворачивается.

— Но с...сегодня особенно, — настаивает Сашка.

\* \* \*

Приезжаем мы минут за двадцать. Надо успеть оформить пропуска. Порядки-то не ахти какие. Больше двоих не пускают. А нас пятеро.

Со старшиной полный контакт. Этого достаточно, чтобы прошли четверо, однако слишком мало, чтобы пятым оказалась женщина.

Как говорит Сашка: «У служивых своя логика».

Капитану не больше тридцати. Перчатки у него рыжие, под цвет портупеи. Снимает он их значительно, петоропливо сдергивает каждый палец, перчатка подается туга, что неминуемо продлевает удовольствие. А еще капитан курит трубку — последнее тоже впечатляет.

Мы протягиваем бумаги. Капитан берет их двумя пальцами правой руки, лихо встряхивает, отчего оба листа

сразу принимают обычную форму, углубляется в чтение.

— Ловко,— с восхищением замечает Сашка.

— Практика,— как бы между прочим роняет капитан, не поднимая головы.

Перечитав просьбу комитета комсомола дважды, капитан сосредоточенно кашляет, а затем тоном человека, представляющего последнюю инстанцию, суммирует собственные мысли:

— В порядке исключения пропустить.

И нас пропускают.

Стриженая голова еще четче обозначает черты его лица, словно все, что было раньше убрано внутрь, сейчас, наоборот, выставлено наружу и удивляет своими размерами и угловатостью. Лицо сразу стало беспощадно открытым и суровым. Он ждет, пока мы усядемся прямо напротив него, неловко щурится на свет, а затем начинает размеренно и спокойно говорить, как человек, которого минуту тому назад отвлекли, а сейчас он возвратился к прерванному разговору и чрезвычайно рад тому, что не потерял мысль и может продолжить рассказ так же спокойно, как и начал его...

— Назначили бригадиром. Приняли хорошо,— говорит он и улыбается.— Главное, нет потери квалификации, тоже строим.

Он задумывается, ожидает нашей реакции. Мы молчим. Нам неловко вот так запросто в этих стенах сказать, отлично или даже хорошо, похлопать одобрительно по плечу, взъерошить волосы. Здесь все приобретает какой-то иной смысл, и даже искренность становится своей противоположностью. Мы молчим. Он не обижается. Он слишком умен, чтобы обижаться. У него будет время подумать о нашем поведении, расставить свои акценты, к чему-то привыкнуть... А сейчас он пропускает наше молчание где-то мимо себя и снова начинает говорить.

— Когда человек в тюрьме, его принято жалеть... Это точно. Здесь всех жалеют. Наверно, это даже оправданно. Не знаю кому как, а меня выбивает из колеи... Вот и придумываешь всякие небылицы: мол, я — это вроде как и не я. Заболел человек ангиной, подумаешь болезнь. Сегодня есть, завтра нет. А вы ко мне приходите так, на всякий случай. Скучно человеку — вот и приходите. А жалость, жалость ни к чему. Она беднее человека делает. Точно. Душой сохнешь.

Улыбка получается неловкой. Николай чувствует это, краснеет. И вдруг совершенно неожиданно:

— Написал новые стихи. Прочту, не возражаете?

Мы не успеваем ответить, встает он легко и, отбивая уверенным шагом ритм стиха, начинает декламировать:

Как бублики, мы логарифмы  
Напижем на первую ткань,  
Мы рифмы, мы чувства, мы ритмы,  
Мы дерзости щедрая дань.  
Мы капля янтарного пота,  
Мы соль на опухших губах.  
Работа,  
    работка,  
    работка,  
Работа до боли в зубах.

Нам не надо высказывать одобрения. Так даже лучше. В нашем молчании больше слов, чем в суетливых восторгах, которые вряд ли здесь уместны.

Соседи справа и слева оборачиваются на его голос. И хотя говорит он приглушенно, скорее шепотом, слушаем его не только мы.

Лена сидит рядом. Мне хорошо видно ее лицо. Спокойное, чуточку отрешенное.

Мы здесь без малого час. За все время она не проронила ни слова. Плечи чуть опущены, сидит и молчит.

Мне даже кажется, что Лена зябнет, однако сказать ей об этом неловко. И получается: ждет человек, когда же кончится эта канитель и разговор нелепый. И вроде сидит он здесь без пользы, время теряет.

«Нет, нет,— говорю я себе.— Так быть не может. Ты не справедлив к ней».

Вспомни, как ты пришел сюда первый раз. Разве ты не был растерян. Смотрю на Димку. Димка отводит глаза в сторону. Наверняка думает о том же.

— Алеша! — Я вздрагиваю. Так меня называет только Николай. Его лицо рядом с моим. Оно слишком близко. Я вижу одни глаза. Крупные, серовато-синие глаза.

— Ну.

— Что в институте?

— В институте? — Мне некуда деться от его глаз.— Нормально,— бормочу я. Чувствую, как на лице выступает испарина.

— Нормально?— переспрашивает он быстро и вдруг больно толкает меня в грудь.

— Нормально. Эх ты, Цицерон.— Николай отворачивается. Я вижу, как по скулам, жестким и угловатым, пробегает первная дрожь.— Чего вы молчите? Боитесь сказать больше, чем нужно? Не бойтесь... Где комсомольский?

— У меня,— первно заикается Сашка.— В... сейфе.

— Комитет был?

— Был.

— Ну и как?

— Никак.

Теперь Николай смотрит на Сергея.

— Значит, никак. Ругают, возмущаются, оправдывают, жалеют, ссылаются на устав — так, что ли?

— Отчасти так.

— Отчасти,— зло сжимает зубы.

— По уставу не положено. Но разве все вложишь в устав. Как мне вам объяснить.

— Фу, чуть не забыл...

Николай удивленно разглядывает меня.

— О чём ты, Алеша?

На лицах ребят очевидное недоумение. По-прежнему безучастна только Лена. О встрече с Фроловым я не рассказывал. Сашка с Сережкой покусывают губы, не знают, радоваться или сокрушаться.

— Я тут Фролова встретил.— При упоминании фамилии Фролова лицо Николая становится холодным.

Теперь уже ребята не скрывают своего недоумения: «Ну, гусь!»

Димка растирает плечи: здесь действительно прохладно.

— Чего вы на меня глаза таращите?.. Случайно встретил.

Сережка не по-доброму усмехается.

— А ты не нервничай, рассказывай.

— Он разные хорошие слова о тебе говорил.

— На слова мы все горазды.— Сережка забрасывает руки на колени.— Фроловы, Харламовы и прочие.

— Да помолчи ты...

— Ну вот и слава богу. И у меня союзник есть...

— Слова разные бывают. В общем, ждут тебя, Коля. Он так и сказал: «Передайте Климову, нам его очень не хватает. Мне, говорит, необыкновенно повезло, что пришлось работать с такими людьми, как Климов. Для меня это большая радость».

— Ты это серьезно? — Губы Николая чуть шевелятся, и я скорее догадываюсь о сказанном.

— Для шуток, Коля, место не подходящее.

О чём он в тот момент думал. А может, и не думал ни о чём. Просто заставлял себя поверить в услышанное. Не знаю...

— Мы все не привыкли к этому,— говорит он куда-то в сторону.— Вы — рассказывать, потому как не знаете, что отвечать. Я — расспрашивать, потому как не знаю, что спросить. Пройдет время, многое станет обыкновенным. А сейчас все в новинку.

— Коля?

— Ну,— он поворачивается ко мне. Растерянно проводит рукой по волосам— волос-то нет. Видимо, собирался сказать что-то громков, а сказал тихо-тихо: — Ерунда. Точно вам говорю, ерунда. Себя не мучьте, меня не пытайтесь. Подсудимый признал себя виновным. Всякое бывает, ребята. Давайте об этом больше не говорить.— И тут же, словно другой человек:— Знаете, чего мне сейчас хочется? Ни в жисть не угадаете...

Нам сразу становится легче и проще.

— На озера,— пряча усмешку, бросает Димка.

— Не-а. А вообще на озера тоже.

— Знаю,— вставляет Сашка.— Получить новый объект.

— Смотри-ка, почти угадал. Вот дьявол.

— А если серьезно?

— Серьезно... Влезть бы куда-нибудь высоко-высоко. Ну, скажем, на стрелу подъемника. Кругом простор, ветрище. Аж кости сводят. Тучи у тебя шапку на затылок сбивают. А ты стоишь, и хоть бы хны. Кругом пустырь. И нет еще ничего. Лишь ты да этот озябший кран. Во как. Ну и объект, конечно. Нулевой цикл.

\* \* \*

Непонятно устроен мир... Мы здесь. Нам уже скоро уходить, она так и сидит, плотно сжав губы, чуть наклонившись вперед, и смотрит. Куда-то мимо нас, мимо Николая, в свой мир, в который мы, по чистой случайности, не успели попасть.

«Но почему же так, неужели?» — хочется закричать мне. Сочту ненормальным. Оглядываюсь на ребят, молчу.

— Однако хватит о мечтах,— словно спохватившись. роняет Николай. Он берет Лену за руки и начинает говорить сбивчиво, торопливо.

— Почему ты молчишь? Неужели нам не о чем поговорить? Это не упрек. Боюсь забыть твой голос.

— Зачем ты так.— Ленка трется лбом о его руки.

— Я непоправимый истукан. Все суёта. Ты здесь... Это самое удивительное, что могло произойти. Впрочем, ты всегда здесь, со мной. Иначе не могло быть. Все эти дни думал, что же я скажу тебе. Так ничего и не придумал. Если и есть моя вина, она перед тобой. Я ни о чем не прошу. Ты все решишь сама. Лешка прав, не надо придумывать испытания. Все ос galльное — во-вторых и в-третьих. И пожалуйста, без пенужных деклараций: мой долг, я обязана. Мишутра все это. Мы обязаны быть самими собой, и только. Письма коротки. Вечно боишься что-то упустить. Вот, мол, наступит время разговора, и тогда... Разговор происходит, и все повторяется снова... Прости.

И нет уже испуганного лица, отрешенного взгляда. Ничего нет. И только невероятно большие, и невероятно черные, с тяжелым наплывом слез глаза. Он никак не может найти место своим рукам.

— Да, вот еще что. Передайте Шелунову.— Броде как вопрос самому себе.— Пусть посмотрит.

Тетрадь, серая, в грубом лидериновом переплете. Пробую на вес. Ого!

Николай пожимает плечами:

— Сам удивляюсь.

Встаем все разом. К выходу идем вместе. Николай с Леной чуть позади.

— Успокойся, прошу тебя, слышишь. Ничего, ребята свои. Не зря же они мне завидовали. У тебя совсем соле-

ные губы... Ну перестань. Будь умницей, ладно? Иди...

И она медленно идет, больно закусив нижнюю губу, натыкаясь на расставленные стулья. Я слышу, как с треском хлопает дверь и мутновато-рыжий графин начинает испуганно дребезжать.

— Граждане, попрошу заканчивать. Граждане... по-прошу заканчивать,— выкрикивает старшина, переходя от группы к группе.

\* \* \*

Мы устали повторять: «Все следует принимать как должное». К житейским мудростям привыкаешь не сразу. А по мне, лучше вообще не привыкать.

Поздно вечером меня неожиданно вызвали к телефону. Это оказался Игин — заместитель начальника стройки. Событие не ахти какое, мало ли причин — срочное дело. Меня теперь накрепко определили в совет молодых специалистов. Говорят надо, но приходится терпеть.

— Послушайте, Максимов, вы адрес мой знаете? — глуховато прогудел Игин в трубку. И только тут я удивился. Вызовы поздние и дажеочные бывали и раньше... С таким начальником строительства, как Фролов, не скучишься. Дело не терпит — иди, о времени потом вспомнишь. Но приглашение домой... Это что-то новое.

— Конечно,— не очень уверенно ответил я, потому как домашний адрес заместителя начальника стройки, по чистой случайности, в сферу моей любознательности не попадал.

— Ну, хорошо,— согласился Игин.— Жду!

Я покал плечами и повесил трубку:

— Домой, странно.

Я еще минуту-другую неуверенно потоптался у переполненного собственной значительностью телефонного ап-

парата в надежде что-то понять, однако просветления не наступило.

— Ладно. Приеду, расскажу,— подумал я вслух и вышел.

Дом Игина я нашел быстро. Жил он на улице Калинина. Современная квартира, три комнаты. Коммунальные услуги налицо — повернуться негде. Раза два натолкнулся в темной передней на какие-то незнакомые предметы. Хорошо хоть свет никто не зажег. Краснею — не видно. К счастью, коридор невелик. Современное строительство тоже имеет преимущества.

— Садитесь,— пригласил Игин. За круглым столом уже скучал сухопарый, с тяжелыми, как гири, смуглыми руками парень.— Знакомьтесь... Бригадир монтажников с шестого участка.

— Чурляев,— тряхнул редковолосой головой парень и, почти не вытягивая руки, достал мою ладонь так легко, будто мы и не сидели по разные стороны широченного стола.

— Пригласил вас не случайно,— своим застенчивым голосом сказал Игин откуда-то из глубины комнаты. Ни я, ни парень его лица не видели...— Точнее, пригласил вас, Алексей Федорович. Чурляев пришел сам... Стеснять не буду. Я в курсе дела. А вот вам послушать пе грех. Роскошного ужина не обещаю, живу по-холостяцки. Жена на даче... Ну, а чай с коньячком предложить могу. Пойду управляюсь на кухне... Так что, Виктор, если вас не затруднит, расскажите Алексею Федоровичу все.

Виктор, который не очень понимал, почему Алексею Федоровичу следует все повторить, спачала выжидательно засопел, будто еще прикидывал, надо ли соглашаться с Игиным, затем раздумчиво почесал затылок и только после этого сказал:

— Повторить можно, повторить нетрудно, толк бы был.

— Речь у бригадира монтажников торопливая, без знаков препинания. Притущенный торшерным колпаком свет стеснял рассказчика. Он несколько раз отважно смотрел на люстру, видимо, надеясь на мою сообразительность, однако я оставался сидеть. Хозяин был на кухне... Мало ли что принято и что не принято в этом доме. Пусть будет так. Постепенно Чурляев пообвык, голос его словно встал во весь рост, и даже в двух, на его взгляд, особенно сложных моментах, он уронил кованую ладонь на стол, отчего вся малогабаритная мебель сразу пришла в движение.

— Так бывает. Приходят новые люди, что-то меняется, к чему-то привыкаешь, от чего-то надо отвыкать. Мы разве против, мы за, ежели это для дела,— говорит Чурляев в сторону.

Рассказывает он нескладно. Какие-то вещи приходится додумывать. Уже вернулся с чаем и обещанным коньяком Игин. А Чурляев все говорит, словно боится, что сейчас оборвут и что-то останется невысказанным, останется внутри него, и как не давало покоя прежде, так и поныне будет бередить душу.

Шестой участок — это участок Николая... Сергей назначен туда по собственному желанию. Нам тоже казалось, так будет лучше. У него светлая голова. Он умеет работать.

Человек уходит, дело остается. Так или иначе оно продолжает человека.

Я знаю, легче начинать на пустом месте. Отсчет времени начинается с тебя — это тоже важно. Всякое продолжение неминуемо рождает сравнение. Он принял участок, которым руководил Николай. Он принял людей, которых собрал вокруг себя Николай. Он принял мысли, которыми жил Николай.

Сделать шаг вперед не так сложно, если ты знаешь, почему сделано два, пять, десять предыдущих.

Неоправданно выяснять, кто первый сказал: «С Кли-  
мовым было по-другому».

Он услышал эту реплику.

— Ну что ж, со мной будет иначе.

Они пожали плечами. В конце концов, он начальник,  
это его право.

Чурляев облизывает губы.

Не сомневаюсь, Сергей так и сказал — «иначе». Не лучше,  
а иначе. Не следует спешить с осуждением, и все-таки  
ты ошибся, Сережа.

— Сначала снял бригадира арматурщиков... Шуметь  
не стали. Костин не ангел. Мы его предупреждали рань-  
ше: «Брось сквалыжничать. Из-за куска трубы совесть  
теряешь». Вроде помогло... Может, не стал на много лучше,  
но думать стал. Зачем ему понадобился этот инстру-  
мент, точно не знаю. Говорит, халтура подвернулась. На-  
верно, так и было. Наутро Сергей Дмитриевич вызвал и  
уволил по 47-й. Сунул волчий паспорт в зубы, и все. Ша-  
гай, Костин, строй новую жизнь. Вообще обидно, но смол-  
чали. Было за что — значит, баста, терпи. Дальше хуже.  
Уволил прораба. Так нельзя, Николай Петрович терпимее  
был... Мы все знали, кто такой Сотин. Если бы не тот слу-  
чай, человеком бы стал. Он ведь со мной перед самой ава-  
рией разговор имел. Мальчишку на воспитание взять хо-  
тел. Может, и не дали бы. Наверняка б не дали — две  
судимости. А если подумать — ведь как Николай Петро-  
вич в человека верил. Иногда даже жуть брала. А все  
равно верил. А тут всех под один ранжир. Но почему?  
Неужели шестой участок воспитывать надо? Мое рассуж-  
дение какое? Взялся человек за дело. Берись за него так,  
чтобы люди тебе верили. Понимали тебя. Три раза я к  
Сергею Дмитриевичу на разговор напрашивался. Зайдешь — некогда, потом. Через день снова: «Разговор  
имею, время назначьте». А он и глаз не поднимет.

— Знаю я ваши разговоры. Если сам к склокам интерес проявляете, то у меня иной круг обязанностей.

— Вижу, расположения никакого, одна недоброжелательность. Надо бы сдержаться, да не получилось — вспылил: «Мы у вас не в услужении. Я парторг. Народ действий ваших не одобряет».

— Ах, парторг,— говорит.— Прекрасно. Но вы еще бригадир монтажников, за работу которых несете персональную ответственность.

— Какой разговор, все ясно.—Хлопнул дверью и ушел. На следующий день, смотрю, народ у доски объявлений колобродит. Подошел... А там вот эта штука висит.— Чурляев сопит, морщит сосредоточенно лоб, перекладывает из одного кармана в другой бумажки, деньги, носовой платок, снова бумаги, наконец достает помятый лист, виновато разглаживает его и кладет на стол.— Вот, полюбопытствуйте.

— «Приказ № 211

За систематическое нарушение бригадой монтажников трудовой дисциплины, невыполнение установленных объемов работ и срыв производственных графиков приказываю: руководителю бригады монтажников Чурляеву В. Д...»

— Виктором Демьянычем меня кличут,— обеспокоено вставил Чурляев.

— «... Бригадиру монтажников Чурляеву В. Д. объявить строгий выговор.

Рабочих Васильчикова, Никандрова, Самсонова направить на переаттестацию в целях подтверждения своей квалификации, согласно обозначеному разряду».

Чурляев угрюмо теребит скатерть.

— Такие дела. В конце рабочего дня вызывает... «Сядитесь». Сел. «Я,— говорит,— к вам, Чурляев, как к специалисту, претензий не имею, однако в наших общих интересах вам лучше поискать работу в другом месте...»

Мол, что до меня, готов оказать содействие, да и сами приглядывайтесь... Вступать с вами в полемику, на которую вы настроились, желания нет, а если начистоту, и времени нет. Вот такая история.

Про объем выполненных работ объяснять не буду. Поставку арматуры сорвали начисто. Какие объемы могут быть. По такой мерке подходить. На день бумаги не хватит приказы писать.

Ну, а трудовую дисциплину нашу можно и проверить. Ребята тут ни при чем. Виноват я, меня и накажите... Без согласования с ним проводить друзей в армию отпустил двоих. Отгул за свой счет подписал. Положено — отвечу. Я коммунист, мне мораль читать не надо... Только сколько работаю, не было на участке свары такой... Не было. Если вопросы имеете, готов пояснить.

— Ты чай пей... — Игин приглушенно кашлянул в кулак.

— Я вообще-то не любитель. Ипполит Кондратыч...

— Понятно. Надеюсь, коньяк у тебя отвращения не вызывает.

— Да нет как-то. Просто настрой не тот.

— Про свой настрой ты вон целый час говорил, теперь рюмку коньяку выпей. В самый раз будет. Я тебя спаивать не расположен.

Чурляев неопределенно повел плечами, будто заранее настроился вздрогнуть, ходко выпил коньяк и сказал: «Бррр...»

— Ну вот, другой разговор. Лимон бери... Вопросов, я думаю, задавать тебе мы не будем. — Игин взъерошил сбекжавшие на затылок, но все еще густые волосы, причмокнул губами... — М-да... Не будем. Слава богу, следствиевести не обучены. А за разговор спасибо. И пришел кстати. В подобных делах половики в прихожих вытирать нечего.

— Тогда я...

— Ну, раз не терпится,— кивнул Игин и устало улыбнулся.— Дома, между прочим, тоже люди.

Мы провожаем Чурляева вместе. На этот раз в передней горит свет.

— Вы задержитесь на минутку.

Я понимающе киваю и пропускаю Чурляева вперед... Он тоже кивает, и тоже понимающе.

Дверной замок мягко щелкает, Игин осторожно берет меня за локоть...

— Чай остыл.

Мы снова сидим друг против друга, только теперь на месте Чурляева — я.

— Алексей Федорович! — У Игина определившаяся раз и навсегда привычка всех называть по имени и отчеству. Возраст не имеет значения.— Делать какие-либо пояснения к услышенному, видимо, лишнее. Вы, кажется, друзья с Тельпуговым?

— Да, у нас целая компания.

— Я имею в виду вас лично.

Уточнение Игина не очень понятно, однако я киваю,

— Друзья.

— Полагаю, административное вмешательство в данном случае — не лучший вариант,— все тем же вкрадчивым голосом продолжает Игин.

— Я тоже так считаю.

— Хм... А Климов был прекрасный специалист.

— Почему был. Он им и остался.

— Разумеется, разумеется. Досадная история. Ну ничего, жизнь не кончается сегодняшним днем. Ведь так?

— Видимо.

— Вот именно, вот именно. Однако не Климов суть моего, да, очевидно, и вашего беспокойства. Я не склонен принимать все сказанное Чурляевым за чистую монету. Есть тут и обида. И дело не в хорошем Климове, который

якобы все прощал... и плохом Тельпугове. Нет. Сколько Климов отсутствовал, прежде чем пришел Тельпугов? Если мне не изменяет память... — Игин почесывает подбородок, прикидывает что-то в уме. — Три месяца. Совершенно точно. Три месяца участок пребывал без руководства. Иначе, девяносто дней неопределенности. Не так мало. Есть тут и личная несобранность. Все есть... И тем не менее определяющим является тщеславие. Море тщеславия. Боязнь тени... Да... да... — Игин перешел на полу值得一епот. — Именно тени предшественника, которая его, Тельпугова, лишает солнечного света... Несколько образно... но верно. В самом деле, зачем на лучшем участке стройки менять кадры... А?

Голос Игина становился то громче, то тише, но все равно не терял своего главного оттенка — врадчивости. Он осторожно передвигается по комнате, почти бесшумно. Меня не покидает ощущение, будто где-то за моей спиной ходит огромный кот, который вот-вот высажет свое требовательное — мяур...

— Не обращайте внимания, я люблюходить, когда говорю.

Игин не так прост и улыбчив, как может показаться. Он все видит. Он видит даже больше, чем нужно.

— Понимаю, так сразу нельзя, надо подумать...

— А что остается, — не скрывая собственное раздражение, подтверждаю я.

Он прав, этот вкрадчивый Игин... В голове давно пульсирует навязчивая мысль. «Ребята остались одни, теряются в догадках. На ночь глядя вызывают же каждый день. И все-таки суть моего беспокойства дальше, за пределами рассерженных взглядов и десятка иронических реплик. Кто будет отвечать на те главные вопросы?»

— Сами, — словно в пустоту роняет Игин.

Очень некстати, по я вздрагиваю:

— Как вы сказали?

— Попробуйте решить все сами, попробуйте... Тельпугов — неглупый человек. Постарайтесь объяснить, как это все серьезно. Берегите самолюбие. На редкость взрывчатая смесь. Будьте осторожны. Без самолюбия человек ничто.

Я ухожу. Игин мягко жмет руку...

— Будут интересоваться, что и почему?

— Будут,— сокрушенно киваю я.

— Это хорошо, когда есть с кем посоветоваться.

Дверной замок приглушенно щелкает.

Вкрадчивый Игин остается за пухлой, серого дерматина дверью.

\* \* \*

Дежурный щурится на свет.

— Позже не мог? — Он зевает.

— Не мог,— отвечаю я и тоже зеваю.

— Открывай тут всяkim,— бормочет дежурный и снова валится на диван.

В комнате горит свет. Так и знал, никто не спит.

Мне не надо говорить — я пришел. Книги, словно по команде, грохаются на стол. Доброжелательность судьбы все-таки существует. Сережки дома нет. Иначе бы, забросив ноги на стол или спинку кровати, он торчал тут же.

Сашка достаточно наивен, чтобы стыдиться своей несдержанности.

— Это как понимать? Предписание врача, или ничто человеческое нам не чуждо?

— Как хочешь. У меня нет настроения шутить. Меня вызывал Игин...

— Игин! — Сашка растерянно отпускает простыню. Зрелище достаточно необычное. Дон-Кихот на медицинском осмотре.

— Посмеемся потом,— бормочу я.— Сережка убирает на шестом участке людей...

— Ну это его,— начинает безразлично Димка, однако тут же спохватывается: — То есть как убирает?

— Просто. Не понравился, предложил уйти по собственному желанию. Выразил несогласие — получи выговор. Еще раз возразил — увольняю по 47-й и т. д.

— Ребята, шестой участок — это же лучший на стройке...

— Следует читать, был лучший.— Димка кривит губы... Странно, до Димки истинное понимание плохого доходит быстрее всех.— Как же он может,— говорит куда-то в сторону Димка.— И хотя бы слово... Эх-хе-е...

— Нет... постойте... Не надо горячиться... Видимо, есть какие-то причины. Сережка чуть-чуть педант. Нельзя просто вот так... Захотел и выбросил человека... Да и зачем ему это?

— Для несведущих цитирую: «Роль личности в истории». Принести?

— Как хочешь...

— Лешка, неужели ты думаешь?

— Не знаю... Сашок, я не специалист по психоанализу. Но, видимо, Димка прав. Представь художника, который не в силах создать полотно лучше своего предшественника или коллеги. А картины висят в одной комнате. Все приходят в гости, восхищаются первой, оставляя без особого внимания полотно хозяина. Художник не перестает рисовать. Нет. Он просто снимает со стены картину удачливого коллеги и уносит ее в чулан. И теперь уже гости неминуемо останавливаются перед полотном хозяина и говорят: «Любопытно... И главное — почерк».

— Все так...— Димка закуривает.— Тщеславие не допускает сравнения с лучшим, потому оно и тщеславие. Мы же знаем Сережку... Есть такая порода людей. Она не

умеет продолжать. Для них алфавит только тогда алфавит, когда он начинается с первой буквы собственного имени... Все остальные могут остаться на своих местах... Это уже вторично...

— А разве мы не завидовали, мы сами,— не унимается Сашка,— как у Коли все складно получается с рабочими. У нас накладки, срывы, зазубрины, а у него будто подогнанные детали — одна в одну. И хоть бы щель какая.

— Ты хочешь сказать, что в подобных условиях поступил бы так же.

— Да нет,— устало отмахивается Сашка.— Просто пороки не чужды никому из нас.

На этаже хлопнула дверь...

— Сережка возвращается. Туши свет...

— Зачем?

— Говорю, туши. Вы, Леша с Димкой, идите... Должно же быть разделение труда. Я тоже хочу сыграть соло на кларнете. Мне все ясно.

— Что тебе ясно?!

— Ребята, я прошу вас.

— О господи, люди помешались на тщеславии. Пойдем, Димка.

— Ну, как знаешь.— Димка зевает.— Если чего, мы рядом.

— Ребята...

Мы на секунду задерживаемся в коридоре, шаги приближаются. Пожимаем плечами и уходим в свою комнату.

\* \* \*

Утром встретили на улице Жихарева. Поздоровались холодно. Он тоже был на суде.

Жихарев поклевал носком ботинка землю и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Зря,— затем громко зевнул и уточнил:— Кассации, кассации, кассации... Не надоело?

— Нет, не надоело.

— Неужели вы все-таки убеждены, что он невиновен?

— В пять, в десять раз больше.

— Вот как? Завидую. А впрочем, вру... Нечему завидовать. Хотите совет?

— Ну...

— Угомонитесь. Поверьте, вы сделали все возможное. Но... проиграли.

Жихарев лихо поддал кусок шлака, перепрыгнул через лужу и быстро пошел на трамвайную остановку.

«Значит, проиграли, как сказал Жихарев. Проиграли. И все зря?» Я только сейчас заметил, что иду в другую сторону. «Но ведь мы сделали все возможное! Как мало нужно людям. Достаточно сделать все возможное или, по крайней мере, подумать так, и ты можешь жить спокойно. Но где граница между возможным и невозможным? Кто ее устанавливает?.. Граница... А если ее нет? Если существуют иные параметры?.. Николай любит повторять это слово. Да-да, обозначить для себя высший предел, сделать правилом невозможное, отнести границы условного — значит перейти в иной жизненный параметр, где жизнь не просто жизнь, а борьба. Я не верю в бесполезность борьбы!..»

\* \* \*

Как Сашка выполнил свою сольную партию, нам приходилось только догадываться.

Сначала пропал куда-то Сашка. Трест проводил двухдневный семинар плановиков. Потом не получалось у меня. Я срочно вылетел на комбинат железобетонных конструкций. Мы задыхались без материалов, а очередные по-

ставки предполагались только в конце четвертого квартала.

Игин вызвал к себе, вытащил кучу бумаг.

— Видал? — спросил он зло.

— Видал,— ответил я неопределенно...

— Это переписка с поставщиками. За такие вещи судить надо. Но у нас нет времени, мы строители. А теперь иди сюда.

Массивная стена красноречиво увешана выцветшими от солнца графиками.

— Вот объемы... Вот сроки. Вот поставка оборудования. А это... наши слезы, иначе, кривая выполнения плана. Понял?..

— Может, стоит заплакать?..

— Нет, плакать не нужно. Для начала пробей арматуру... И не вздумай вернуться без ничего... Скажи этим крохоборам, что детский комбинат им построят в этом году.

— Толкаете в бездну порока?

— Учу плавать, милый,— ласково заключил Игин.— Поезжай...

Короче, три дня отсутствовал я. Все беспокоился, расскажет без меня. Не рассказал. Молодец! А может, просто не получилось... Уже на следующей неделе в конце рабочего дня встретились на стадионе.

— Поговорим?

— Как знаешь. Ты молчишь. Нам неудобно расспрашивать...

Сашка презрительно оттопырил губы...

— Молчу... Кому рассказывать-то? Лешка, как затравленный снабженец, мечется по параллелям и меридианам. Я, как интеллигентный плановый работник, выступаю с докладом о прогрессивных формах планирования строительных работ... Учу людей, между прочим. А этот хулиган-одиночка слоняется без дела. Почти женатый человек,

а дома не ночует. Сейчас . вот пойду и позвоню Ирине. Съел!

Димкино лицо не меняет цвета, но приходит в непонятное движение.

— Саша, ты меня любишь? Не то слово. Страдания иссушили душу мою.

— Ты знаешь, что такое хук?

— Ну вот, пожалуйста, хук, апперкот, отжимаю левой. С кем я вожу знакомство? Бедная мама, она не перенесла бы этого позора...

— Надо смеяться?

— Это по способностям.

— Итак, ты ему сказал все... Твоя обвинительная речь заставила рыдать присутствующих.

— Нет,— сморщился Сашка.— Я ему ничего не сказал...

— То есть как?

— А так... я рассказал свое воспоминание детства...

Я посмотрел на Димку. Димка посмотрел на Сашку. Потом мы сделали это еще раз, но уже в обратном порядке.

— Воспоминания детства?

— Ага, детства.

— И он тебя понял.

— Не знаю. Он меня выслушал очень внимательно. Между прочим, меня все слушают внимательно, прошу занести в протокол.

— Видимо, твой рассказ не будет опубликован отдельной книгой, так что не обижай друзей, поведай устно.

Сашка улыбается хитро и по-доброму, как может улыбаться только Сашка.

— Понимаешь,— сказал я ему.— Настоящее лишь приходит на смену прошлому, оно не начинается с нуля.

Мы переглядываемся с Димкой. Не очень понятно, что следует делать нам. Удивляться, задавать вопросы, ждать,

когда Сашка заговорит снова. А он, как назло, молчит. И тогда не выдерживает Димка.

— И это все?

— Нет, я рассказал ему о своем детстве.

— Что за чертовщина?

Димка пожимает плечами: «Час от часу не легче. Ну при чем здесь твое детство?» Сашка по-прежнему улыбчив и безмятежен.

— Берегите нервы, Дима. Когда я замечаю в подворотнях наших домов расклешенных мальчиков с гитарами наперевес, мне невольно вспоминается детство... Наше детство. Было такое время, когда мы, салажистые пацаны, ошивались на базарах, со смаком горланили полублатные песни, и наши глаза лопались от восторга и зависти, если кому-то из нас выпадал случай достать рентгеновскую пленку с записью Лещенко.

Столь странные увлечения находились под строжайшим запретом и потому интриговали нас до отчаяния. Прощедшие все и все наши родители были неутомимы: сначала восстанавливали, потом строили, потом реконструировали, наращивали темпы. Они вечно были заняты, куда спешили. И мы привыкли к этому. Однажды, заметив нас, родители удивлялись до невероятности.

— Боже мой,— говорили родители.— В кого они, эти дети? — И, видимо, отчаявшись найти ответ, махнули рукой.

— Война,— говорили родители, и все списывалось на войну.

Помимо родителей существовали учителя. Они стыдили нас. «Это безнравственно,— возмущались учителя.— Романтика беспризорного мира погубит вас. Одумайтесь».

Все были полны желания оградить, запретить, воспрепятствовать.

И вдруг случилось чудо. Кто-то надумал сочинить иные

песни. Они тоже записывались на рентгеновской пленке (просто не хватало пластилока), и их тоже продавали на толчке. И люди стали петь эти песни хорошие и простые. И очень скоро все забыли Лещенко. И ничего не надо было оздоровлять, причем и запрещать тоже.

— Это все мы,— сказали строгие педагоги.— Они вняли нашим призывам. Как важно понимать душу ребенка...

— Вы знаете, что он сказал на это?

Мы разводим руками.

— Он потер виски и спросил: «Мне надо забыть о детстве или разучить новую песню?..»

— Нет, — ответил я.— Тебе надо ее сочинить. И тогда незачем будет доказывать: «Я лучше Климова!» Твои работяги — неглупый народ: поймут. Настоящее всегда приходит на смену прошлому. Заставить полюбить настоящее не так легко. Его надо сделать лучше прошлого. Николай никогда не вернется на твой участок... Ты вот-ешь с тенью.

— Вот как,— сказал он.— А детство... Что делать с детством?

— Не забывать о нем. Ненормальности детства тем и прекрасны, что они были давно-давно и касались только нас. Ты щедрый человек. Ты делишься не только достоинствами, но и пороками.

— Значит, нажаловались?

— Дурак,— сказал я ему.— Тебя жалеют. На кулаке-то в пол-ладони мозоль.

— С чего ты взял?

— Стучишь ты им много. А от этого, Сергей Дмитриевич, не только слух, душа глохнет. Вот так.

Сашка зажмурился и с хрустом выпрямил пальцы.

— Ну,— не вытерпел Димка.— А он?

— Спасибо,— говорит,— утешили. Не было у меня духовного наставника. А теперь есть. Молодец. В одном,—

говорит,— Александр Петрович, у вас промашка вышла. Паспорт я ой как давно получил и в опекунстве не нуждаюсь... Ясно? И еще одно. Привык сам жить с иконой — живи. А я человек современный. И пришел я на шестой участок не для того, чтобы жеванное кем-то проглатывать... Сам откусить смогу.

— Неужели не понял ничего?

Сашка смотрит на меня, зло сплевывает.

— Все-то он понял. Гордыня поперек глотки стоит. Поэтому и на стено лезет.

— Думаешь, озлобится?..

— Поживем — увидим, Димка. Да и ждать недолго.

## 28 августа

Об отпуске первым вспомнил Сергей. Кажется, это было в воскресенье. Он подошел к окну, значительно потер стекло и вдруг сказал:

— Лето кончилось.

Разговор об отпуске мне неприятен. Он прав, уже осень. В этой кутерьме лето пролетело слишком быстро.

— Куда? — машинально спрашиваю я.

— Хоть к черту. Лишь бы подальше отсюда.

— Значит, на юг, — уточняю я.

— Можно и на юг. Опять же рабочий класс. Вроде как положение обязывает.

— Хорошо бы дождаться заключения областного суда, — бросает Сашка.

— Хорошо бы, — передразнивает Сергей. — Только тогда и осень пройдет.

— Тоже верно, — соглашается Сашка и выходит на кухню.

Остается мнение Димки. У нас такой закон — по любому поводу должен высказаться каждый.

Сергей гладит майки, когда, бренча эспандером, явля-

ется Димка. Заметив пачку собранного белья, Димка выжидательно покачивается на посках, а затем не без издевки замечает:

— Правильно. Нервные клетки не восстанавливаются. Их надо беречь. Так что, греби, там фрукты дешевле.

Коля это умел лучше меня. Он сразу находил щель, откуда начинало сквозить. А я нет.

Сергей уехал через день. С путевкой все было решено заранее. Неожиданность? Будем считать — да.

Мы разглядываем опустевшую комнату и молчим. Все необходимое сказано, остается только думать.

Областной суд ответил отказом. Вечером пришел комендант и привел парня.

— Новый жилец,— пояснил комендант, оглядывая нас по очереди.— Коечка пустует — непорядок.

Против парня мы ничего не имели. Однако комендант — сволочь.

## 12 сентября

На деревьях появились рыжие подпалины, отчего парк стал дырявым и рябоватым. Потерял упругость лист. В квартирах запахло яблоками и брусничным вареньем. Упал в цене гриб — пять красноголовиков за двугривенный; дождливые капли больно бьют по носу, ресницам, губам. Сентябрь.

Через два дня у него день рождения. Николаю — двадцать пять. Всего или уже? Лучше, когда всего.

Мы так и не решили, что дарить. Вроде и знаешь человека, его характер, привычки, увлечения. И все равно стоишь в недоумении. Одно дело — человек рядом; другое, когда человеку плохо. Димка предложил идею. Это было так неожиданно и так просто, что мы растерялись.

— Вальтер Скотт написал свой первый роман в 45 лет и стал приличным писателем.— Это сказал я.

— Дима, ты подал гениальную идею в 23 года. Ты... перспективнее, чем Вальтер Скотт. Пусть это тебя воодушевляет,— добавил Сашка.

— Мы придем с газетой, в которой его стихи. — А это сказал Димка.

## 20 сентября

Шелунов — редактор молодежной газеты.

Комсомольскую газету в области любят. Почему? Сразу и не скажешь. Беспокойная газета. А может, оттого, что часто печатают стихи. Город молодой, стихи любят все.

Лицо у Шелунова пухлое, чуть с рябинкой. Шелунов тоже любит стихи, но не потому, что молодой, Шелунов — поэт. В его кабинете всегда холодно. Я сюда несколько раз приезжал с Николаем, знаю.

Сейчас он возбужденно потрет руки и скажет:

— Прохладно тут у нас. Только что кончили заседать, пришлось проветрить.

Заседаний тут сроду никогда не проходило. Температура как в овощехранилище. Какие уж заседания. Дом год как сдали, отсюда и результаты — батареи не работают. Мы строители, нам это понятно. А Шелунов — поэт, ему и гвоздь в диковину. Стесняется человек.

Историю Николая Шелунов знает — рассказал Харламов. Они друзья.

— Вот,— говорю я и протягиваю тетрадь Николая.

Шелунов недоверчиво косится на тетрадь, затем берет ее... Наскоро пробегает первые шесть страниц, удовлетворенно почесывает затылок, смотрит на нас:

— А чьи стихи?

— Его.

— А-а... — неопределенно тянет Шелунов. — Править уйма, но что-то есть. Ну, как там у вас?

— У нас без перемен. Плохо.

— Н-да... Закон, конечно, веъць суровая, только отчайваться не стоит. В жизни всякое бывает, на то она и жизнь. А вот настроение ваше мне не нравится.

— Нам оно тоже не нравится.

— Ишь ты. Ладно, не обижаясь. Парни вы больно хорошие.

Шелупов встает. Редактор есть редактор, даже если он поэт. Разговор окончен, и у него есть желание пожать нам руки. А у нас такого желания нет. И мы продолжаем сидеть.

— Хорошо бы в завтрашний номер,— тихо говорю я.

Глаза Шелупова теряют привычную веселость, медленно расширяются, затем становятся совсем круглыми.

— Это ты в каком смысле?

— В прямом.

— Ах, в прямом? Понятно. Я думал, ко мне серьезные люди пришли, оказывается, нет — ошибся. Вот когда тебя за этот стол посадят, будешь советовать, что и в какой номер ставить. А пока этого нет — извини. Между прочим, я редактирую «Молодогвардец», а не «Нью-Йорк таймс», пора бы привыкнуть.

— Кто бы возражал, а мы нет,— робко оправдываюсь я.— Только лучше в завтрашний номер.

Наступает зловещее молчание. Шелунов собирается с мыслями.

— Значит, не возражаете? — переспрашивает Шелунов.

— Не возражаем,— соглашаемся мы.

— Спасибо, уважили. Тогда какого черта вы мне голову морочите.— Голос Шелупова срывается на крик. Меланхоличное лицо быстро покрывается пупцовыми пятнами.

Ребятам не по себе. Они виновато озираются, затем опускают глаза.

— Зачем же так, кто тебе морочит голову. Вот взгляни.

Мы, конечно, можем рассказать ему все. Нет настроения, да и времени нет. Должен же кто-то нас понимать с полуслова.

— Это еще что?

Шелунов оторопело смотрит на исписанные листки. Затем берет их и начинает читать.

— Так, ничего особенного. Два последних письма Николая. Завтра у него день рождения,— куда-то в сторону говорю я.

В кабинете холодно и тихо. Слышно, как за стеной стучит пишущая машинка. Не дочитав до конца, Шелунов откладывает письма в сторону, минуту-другую сосредоточенно смотрит себе под ноги, затем снова на письма. Видимо, на что-то решившись, быстро выходит из кабинета.

Мы ждем.

Возвращается он злой, все с теми же пунцовыми пятнами на лице.

«Будет опять шуметь», — решаю я и поворачиваюсь к ребятам. Но Шелунов не шумит. Ищет курево. Димка протягивает «Беломор». Шелунов мнет папиросу. Молчим.

— Ну, хорошо, допустим,— уже более спокойно говорит Шелунов.— Хорошо. Пару глав под псевдонимом.

Наверно, это действительно очень сложно. И нам следует вскочить и с шумом выразить свою благодарность. Но мы не благодарим и, уж конечно, не вскакиваем с мест. Все та же неловкая тишина.

— Какой смысл,— бормочу я.

— То есть как — какой смысл,— чуть запипаясь, переспрашивает Шелунов. И вдруг, словно взорвавшись, он начинает кричать:— Что вы из меня жили тяпете! Вы знаете, как это называется? — Редактор рывком паливает себе стакан воды.

— Он невиновен,— упрямо заключает Димка.

— Ах невиновен, спасибо. Я это уже слышал. И как ни странно, в это верю. Верю, попимаешь. А генеральный прокурор не верит.

— Значит, ничего не получится,— перебиваю я.

— Не знаю.

Мы, не прощаясь, уходим. Письма Николая так и остаются лежать на редакторском столе.

— Завтра у него день рождения,— уже на ходу брошаю я.

Часам к десяти следующего дня я вернулся с летучки. В дверях меня чуть не спих Димка.

— Ты слышал?

В вахтерке толпились ребята. «Мне сполна отпустила жизнь»,— хрюпал репродуктор. Кажется, читал сам Шелунов.

У газетных киосков волновалась очередь. Против обыкновения свежий номер молодежной газеты задерживался.

Шелунову объявили выговор. Об этом мы узнали гораздо позже. Тогда все казалось элементарным. А сейчас? Сейчас нет. Просто мы повзросли.

Самое время сказать: «Так не бывает».

Повод для спора?

Нет, обыденное восприятие событий. Мы привыкли к догмам. Мы не можем без догм.

Однажды кто-то заметил: «Земля вертится».

А что получилось? Н-да.

Все в конце концов становится догмами — необратимый процесс. Похоже на отложение солей. Не хочется ничего объяснять — устал. Проще сказать — мне приснился сон. Так оно и было. Мне действительно приснился сон.

Я не знаю этих людей. Все та же контора-времянка.

Здесь мы оформлялись на работу. Странно, прошло достаточно лет, и ничего не изменилось. Они окружают меня. Похоже, мои сверстники. Вот этот рябой, я его где-то видел. У сухопарого чуточку косят глаза. Надо бы спросить, откуда у него такой свитер. У них есть ко мне разговор, их выдают глаза. Я не люблю драк, но если иного выхода нет... В конце концов все мы люди.

— Ты узнаешь нас, проповедник?

— Мы где-то встречались, только вот где? И потом проповеди не по моей части, вы опибаетесь.

— Мы все проповедуем. Каждый по-своему. Разве не так?

— Возможно.

— Мы хотим задать тебе несколько вопросов...

(И только, я ожидал худшего.)

— Вас было пятеро?

— Да. Пятеро парней и девчонка. Ее зовут Леной.

— Пусть так... Вы друзья?

— Да.

— Вы знали друг друга давно?

— Пять лет.

— Вы всегда были откровенны между собой? Почему ты молчишь?

Обычная пауза. Я ищу глазами друзей.

— Всегда.

— А Сергей?

— Дружба не исключает промахов. Мы верили в лучшее, но мы ошиблись...

— Ты говоришь «мы», значит, так считают все?

— Да.

— Сергей не был с вами откровенен, вы согласны?

— Да.

— Николай скрыл от вас правду, вы согласны?

— Да.

— И все-таки ты настаиваешь, что ваши отношения можно назвать дружбой?

— Да.

— В таком случае это нужно доказать.

— Я должен на все вопросы отвечать один. Пожалуй, он прав.

Дребезжит фанерная дверь. Николай в плаще, капли дождя еще не высохли.

— Ты тоже здесь? — Он вытирает занемевшее от ветра лицо. — Меня о чем-то хотят спросить?

— Они сомневаются в нашей дружбе. Объясни им.

— Ты думаешь, они мне поверят? Всех интересует, почему я не сказал вам правды. Видимо, этих тоже.

— Наверное.

— Ты, Николай Климов?

Тот, что в модерновом свитере, достаточно настырен. Хорошие парни, им не хватает воспитания. Первый раз встречаем человека, и уже на «ты».

— Да.

— Доверие. Между вами было доверие?

— Разумеется.

— Но ты молчал. Это не случается просто так. Ты чего-то боялся?

— Да, я боялся доброты. Доверие — это лишь одна составная дружба. Они меня любили. Не время ворошить частности. Погибли люди. Жизнь без скидок на молодость, на старость, на талант, на порывы, на всю прочую шелуху — единственная справедливая и правомерная жизнь. Их любовь не безгрешна, она способна породить ложь. Они могли заставить меня поверить в собственную невиновность.

— Значит, в дружбе каждый сам по себе.

Николай машинально закуривает, смотрит па паутинистый дым.



— Нет. Каждый должен быть самим собой, иначе невозможна дружба.

— Ты знал, что им нет покоя. Они ищут путь к твоему спасению. И молчал.

— Все не так просто. Я им сказал правду. Я виновен.

- Ты думаешь, они поверили?
- Видимо, да.
- Тогда их поступки становятся бессмысленными.
- Напротив, они обретают иной смысл. Надеюсь, вы меня поняли?

Они стоят, глубоко засунув руки в карманы, и потому кажутся чуть сутулыми.

- Не совсем.
- Странно, а впрочем, ничего странного нет. Это надо пережить. Закуривайте.
- Спасибо, мы не курим.
- С вами был, кажется, Сергей?
- Вот как, я не заметил.

Дует холодный ветер. Похоже на осень. Отчего-то мимо окна летят зеленые листья? Ах, да... Это же сон. Листья должны быть желтыми и сухими. А вдруг это ранняя осень:

Я успел привыкнуть к хлопкам фанерной двери.  
Он небрит, у него чуть припухшие глаза... Не иначе всю ночь сидел над расчетами.

- Вы знакомы?
- Мы переглядываемся, словно решаем, кому отвечать на этот вопрос.

— Да.

- Сергей Тельпугов, всего два вопроса. Вы любите стroyку?

- Нет.
- Почему же вы приехали сюда?
- Он стоит привалившись к стене. Желтая стена, черный плащ, резиновые с разводами грязи сапоги.
- Скорее, зачем, — поправляет Сергей. — Никакой романтики, никаких иллюзий. Здесь легче оказаться на поверхности жизни.
- А как же дружба?

— Обычно. Когда вы приходите к врачу, вас спрашивают: чем болели в детстве? Свинка, корь, коклюш. Нет худа без добра. Один раз переболел, второй раз не повторится. Мы квиты.

Бом, бом, бом!

— Что это? Почему никто не обращает внимания?  
Николай, ты слышишь?

— Кто же это сказал? Всегда веришь в лучшее. Одна тысячная процента надежды, но все равно веришь.

Бом, бом, бом!

Куда же вы? Он должен все объяснить.

— Да проснись же ты, соня!

— А?!

Димка трясет меня за плечо и чему-то смеется.

— Ну ты здоров спать. Вставай.

Сижу на кровати чуть-чуть забалдевший от сна.  
Сашки уже нет; сегодня воскресенье.

— Видал, что на улице творится?

— А что?

— Снег выпал. Зеленые листья осыпаются. Жуть.

— Быть не может. — Подхожу к окну. В самом деле.  
Снег, словно куски ваты, лежит на зеленых кустах,  
траве.

\* \* \*

### 30 сентября

Если уезжаешь в дождь, говорят, к счастью. Сегодня никто не уезжает, а значит, некому завидовать. Однако дождь завел кутерьму с ночи и, судя по всему, не настроен останавливаться.

Где-то за стеной урчит передвижной кран. Все пра-

вильно... Грунт ползет. Дал указание — выложить подъезд железобетонными блоками. Неприятности еще впереди. Черт с ними, с неприятностями. По крайней мере, материалы будут поступать прямо на строительную площадку... Минуту назад позвонил Димка.

У них заливает котлован. Спрашивает, есть ли лишние насосы. Голову на плечах надо иметь. Мог бы догадаться... У нас тоже дождь.

В обед, как всегда, забежал Сашка — административный корпус рядом. Пока Сашка чертыхался, обчищал ботинки, заглянул Силихов.

— Алексей Федорович, ползет, как опара. Подъезд выложили. А на повороте насыпной грунт, считай, течет!

— И сильно?

— Да уж куда там — вовсю.

— Сообщи бульдозеристам, пускай объезд пробывают с левой стороны.

— С левой? Алексей Федорович, там ведь...

— С левой, с левой, Силихов. Подъем невелик, градусов пять-шесть. Пару машин дробленки рассыпьте, и порядок. И на комбинат позвоните... Пусть не усердствуют на погрузке... Один прицеп — не больше. Ну, чего стоишь? Ползет, как ты знаешь, вниз, а не вверх. Попял?

— Тэк, э... А... Ну да. Ну да, понял.

— Вот тебе и тэк, э. Блоchную нитку каждые тридцать минут чистить колесными тракторами. Ясно?

Силихов недружелюбно косится на Сашку, на его модные ботинки, качает запотевшей головой. Уходит.

— Дела-а... брат, — сокрушенно бормочет Сашка и смотрит сквозь затянутое грязной бахромой окно... — Прогноз не слышал?..

— К обеду обещают прояснение. А на завтра снова... Ливневые дожди в середине дня. А середина у них знаешь какая. С одиннадцати и до пяти. Во как...

— Не здорово.

— Не здорово,— соглашаюсь я.

— Да, чуть не забыл... Ленка уехала.

Теперь, судя по всему, моя очередь расспрашивать и удивляться... Но я не буду удивляться — надоело...

— Надолго?..

— Ага... В отпуск... Хотела, говорит, попрощаться. Да у Лешки с Димкой телефон вечно занят. А до меня дозвонилась. Матери надо помочь. Сестра в техникум поступает. Старушка в годах, шестьдесят пять.

— А ты чего сказал?

— Я... Счастливого пути пожелал... Чего скажешь. Старушке шестьдесят пять — возраст не пионерский...

— А Коля знает?..

Сашкины брови завязались у переносицы, губы вытянулись, как если бы он собирался свистнуть.

— Это ты у нас специалист допрос уч-чинять.

Настойчиво задребезжал телефон. Сашка пыхотя поднялся.

— Ну, я пошел...

Я подождал, когда потертый аппарат еще раз прозвонит, снял трубку.

— Ну, как там на третьем?

— Добрый день, Ипполит Кондратьевич.

Звонил Игин. Сашка ядовито ухмыльнулся.

Интересовались все тем же, ругали все за то же. Я слушал заместителя начальника стройки, а сам смотрел на Сашкины ботинки, минут пять назад он их так старательно чистил. Сашка тоже посмотрел на ботинки, потом в окно, снова на ботинки. Прикинул, куда бы сесть, махнул рукой, опустился на пол и стал разуваться. Я не удержался и захохотал.

— Все это очень серьезно, Алексей Федорович, не понимаю вашего веселья, — отрезал Игин.

Сашка понимающе кивнул: «Ты помрачней, ему легче станет».

Я помрачнел. Игин пообещал приехать немедленно.

— Ну как?

— Никак. Сейчас приедет.

— Иди ты! Дела-а.

Осторожно переступил босыми ногами по полу, толкнул локтем дверь и вышел.

Все проходит, но не все забывается... Жизненная очевидность, а привыкнуть не можем...

Сашка прав, маме шестьдесят пять, спорить не о чем.

— Ленка уехала.

Димка пожал плечами, словно знал об этом давно... Посмотрел на упругую струю пара, она вырывалась из котельной, сбил с каблука засохшую грязь...

— Старость надо уважать, — сказал Димка.

Я вздохнул, и мне чуточку стало легче.

Дожди шли однообразно и уныло. Сентябрь настраивался на нерадостную перспективу. Деревья, как бы на втором дыхании, посвежели. Листва набрала зеленую упругость, заговорили о грибной осени.

\* \* \*

Я только что вернулся из треста, когда мне сказали: «Вас ожидают». Девчонке было лет девятнадцать, не больше, а может, и меньше. Худая, голенастая, с серьезными синими глазами.

— Вот, — сказала серьезная девчонка и протянула какой-то листок.

Я держал листок перевернутым, а она неторопливо с неясной значительностью пояснила:

— Лене Глухаревой принесли... А мы адреса не знаем. И дело срочное — не терпит. Простили узнать, может, вы в курсе?

Голенастая девчонка опускает глаза. Я их тоже опускаю.

— Мы... Да, мы в курсе...

— Адрес дадите или сами ответите! Как быть-то? У меня задание комитета комсомола.

Я не очень понимаю, при чем тут задание комитета комсомола и о каком адресе идет речь? Забавно: стою я, рядом стоит голенастая, с выцветшей челкой серьезная девчонка. Мне ей что-то нужно ответить. А может, подождать, что скажет она своим хрипловатым, чуть-чуть с петухом голосом. Вчера было воскресенье. Туристы, они народ бродячий, поющий. Девчонку можно понять...

— Вы бы прочли, — с укоризной говорит девчонка. Никогда не видел таких темных и таких синих глаз.

Беру протянутый листок. Думал, записка, оказалась телеграмма: «Выезжай немедленно, с мамой несчастье. Вика».

Как выглядит со стороны растерянность? Не чья-нибудь, а твоя собственная. Как у других? А может быть, в тысячу раз беспомощнее?

Ничего не изменилось... Между нами не больше двух шагов, между мной и девчонкой с серьезными и очень синими глазами. Я порываюсь ей что-то сказать, но, кроме нелепого потирания рук и виноватых: «Да, да, разумеется» — ничего не скажу.

— Сами вызовете, или как?

Сами, — ударяет меня по глазам. Сами — эхом отдается в ушах. Сами, сами, сами — навязчиво гудит в мозгу. Я не успел спросить имя голенастой девочки с очень серьезными и до жути синими глазами. Ей не больше девятнадцати, и выгоревшая челка соломой топорщится у бровей. А может, я ошибаюсь, ей даже меньше...

— Я еду домой. Селихов, ты слышишь? Мне срочно надо уехать домой.

Сейчас пойду через пыльный район новостройки... Такой пыльный, что даже тысяча дождей не в состоянии смыть эту желто-серую мглу...

«Ложь оправданная и ложь несправданная — всегда ложь. Она не у матери... Значит. Ничего не значит. Обвинение, построенное на догадках, вымысел. Но кто-то же обязан знать, где она? Ты совершенно прав — обязан.

Обманываем сами себя. Делаем это сознательно. Зачем? Когда прекрасно знаешь — она с Сергеем.

Опять торопишься. Возьми себя в руки. Открытие принадлежит одному тебе. Николай? Нет. Николай ничего не знает. Ребятам ни слова. Слышишь? Ни слова... Ты найдешь Ленку. Она уедет к своей матери. Будет горе. Оно уже есть. А затем? Затем наступит завтра». Я бежал напрямик, не разбирая, что под ногами грязь, и на плаще грязь, и все лицо в крапинках той же самой желтоватогнилой грязи. Меня слегка подташнивало от быстрой ходьбы, но я чувствовал какую-то потребность двигаться и бежал дальше. «Во имя чего ты молчал. Глупец, — говорил я себе. — Обычные люди совершают обычные поступки. Мир, который ты так старательно придумывал, рухнул. Там, за его пределами, и есть настоящий мир, где описывают и находят истину, где формула «ничто человеческое мне не чуждо» есть равноправие между добротой и подлостью. Где нет честности выгодной и невыгодной, есть одна честность — испытание на прочность человеческую. Человек не в силах совершать предательство и одновременно кричать — я предал. Человек предает молча. Почему? Все по тому же. Он только человек. Привыкай, тебе в этом мире жить».

\* \* \*

Здесь никогда не бывает пусто. Давно бы следовало помыть окна. Почему везде грязные окна? Бесконечная галеря грязных окон. Здание охраняется государством — реликвия. Пыль истории не отмывается. Окна — тоже реликвия.

— Гражданин, вы в очереди или так?

— Я?.. Я, конечно, в очереди.

— Обыкновенную или срочную?

Это по инерции. Она даже не посмотрела текст.

— Срочную, самую срочную. Если можно, «молнию».

Молоток свирепо штампует. Трах — бланк в сторону.

Трах — бланк в сторону.

— «Молния» в три раза дороже...

— Ничего, переживем. Лишь бы быстрее.

— Сочи. А это что?

— Санаторий «Волна».

— Так. А это?

— Сергею Тельпугову.

— Гражданин, сядьте и перепишите все отчетливо.

Вас тысячи, а я...

— Правильно.

— Что — правильно?

— Вы одна.

«Сочи. Дом отдыха «Волна» Сергею Тельпугову.

У Лены несчастье с мамой. Организуй отъезд немедленно. Отправку подтверди телеграммой. Главпочтamt, до востребования — мне. Алексей».

Ну вот, теперь все. Можно и закурить.

\* \* \*

Когда он уехал, казалось, все к лучшему. Последнее время мы частоссорились. Вскоре ребята заскучали.

Отчего? Не хватало его картавых песен. Или, как философски заметил Сашка, нам не хватало интима. А может быть, прав Димка? Мы привыкли быть вместе.

Не хочется об этом думать, но неминуемо наступит день, когда ты скажешь: «Сергей приехал». Это будет совсем другой день. Вместе с ним в твою жизнь придут неотвратимые обязательности, без которых жизнь не может существовать. Надо поздороваться. О чем-то говорить. Надо смотреть в глаза и улыбаться. Невпопад и искренне улыбаться.

В детстве самая маленькая тайна наполняет душу восторгом. Мы растем, наши детские годы уходят в прошлое, а тайны все так же тяготят нас, и только их груз становится более весом. А может, душой слабеем?

Утром пришла телеграмма. «Приезжаю тридцать первого. Тельпугов».

Перечитываем телеграмму по очереди.

— Нда... будто и не было ничего,— бросает Димка.

Не сговариваясь, выходим на улицу.

\* \* \*

Пал Палыч Хлебников любил говорить афоризмами. А мы, зеленые первокурсники, восторженно таращили глаза и воспринимали откровение ректора словно высшую истину эпохи. «Как умно, как проникновенно. А главное, только для нас».

Однако прошел год, и все повторилось. Разочарование не было ошеломляющим. Пропал трепет, улетучилась восторженность, астина, как и положено истине, осталась.

Мы неторопливо бредем по скверу. Обычному скверу, с четко расчерченными газонами, замысловатыми клум-

бами на этих газонах, где растет все, за исключением цветов. Тугая изгородь боярышника, десятка три тополей и столько же невпопад разбросанных кустов редколистной китайской сирени. Вот и весь сквер. Вид у зелени жухлый, подержанный. Радостной игры красок не наблюдается. Октябрь, слава богу! Какие краски! И только скамейки отсвечивают не ко времени сочной желтизной, голубизной, зеленью.

Проходим сквер один раз, второй. Снова поворачиваем. Можно подумать, прогулка доставляет нам неслыханное удовольствие.

Похоже на игру. Кто первый проговорится. Все думают об одном и том же. Все знают, что будет сказано, и все равно молчат.

Казалось, что может измениться. Твои слова, так и останутся твоими. И сказать их придется тебе, а не кому другому. И все-таки ты ждешь, как если бы пришел кто другой и высказал за тебя все эти неприятные слова и пережил вместо тебя эти неприятные минуты.

— Давайте же решим окончательно: кто поедет встречать?

Димка с Сашкой молча выражают мне свое сочувствие. Как-никак начал все-таки я.

— Лично я — против, — говорит Димка достаточно громко, ловко поддает спичечный коробок ногой. Димка поддает его еще раз, затем еще...

— Может, хватит, — раздражаясь я.

— Легче замечать ошибки у других, чем признавать их за собой, — говорит Димка. — Кто спорит, конечно, легче. Я своей причастности к этим ошибкам не отрицаю. Мне тоже неприятно.

— При т... т... твоем немногословии т... т... такая речь, почти подвиг.

— А ты все шутишь...

— С-серьезно. Мы знаем, ты хороший. П... п... принципиальный.

Димка недружелюбно косится на Сашку, зло поднимает воротник.

— Раз ты такой гуманный — вот иди и встречай. Ишь, раздухарился, — не может успокоиться Димка.

— Пускай тебя мой гуманизм не волнует... Я... я еще не высказался.

— Ну вот и валяй. А то насобачился в чужих предложениях запятые расставлять.

— Да... дурак ты.

— Ну ладно, ребята, мы тут для дела собрались...

— Так в-вот кое-кто не понимает.

— Если надо, я могу встретить. Но в душе против. — Димка делает глубокую затяжку.

— Что значит, надо... И то надо и другое надо... Весь вопрос, как лучше?

— Да поймите же вы наконец. Мы тут изворачиваемся, как его подлость оправдать. Дескать, не так поймет, тонкая натура, особый настрой души быть выше человеческой слабости. А он цлевать на все хотел: и на наши рассуждения, и на Николая, и вообще на всех нас, вместе взятых.

Сигаретный дым чадит прямо в лицо.

— Вы что, забыли историю с экзаменами?

— Когда человек ошибается, ему все подверстывается под эту ошибку. Так тоже нельзя.

— При чем здесь ошибка, Саша?

— Мы ошибаемся, понимаешь — мы!.. А Тельпуговы не ошибаются. Тельпуговы сложнее. У них все рассчитано до мельчайших деталей. Он и вспылит для антуража, и видимость переживаний создаст, и оплошность допустит, разумеется, если это укладывается в формулу: «я, для меня, со мной, обо мне»,

— Три года мы были вместе. Не так мало, чтобы признать или отвергнуть друг друга. Неужели все три года мы жили вслепую? Неужели так мало нужно, чтобы отказаться от утверждения — он мой друг.

— Мало? — Димка вызывающе посмотрел на Сашку... — Кто виноват. Мы на все закрывали глаза... Мы привыкли, понимаешь, привыкли. Он друг. И нам страшно сказать что-то иное. Почему, я повторяю, почему никто не намерен вспоминать случай с экзаменами?

Случай с экзаменами. Эх, Димка, Димка. Ты прав, был такой случай. И нам так хочется забыть его, списать, как несуществующий, но, видно, одного желания мало. Есть еще память...

Весенняя сессия выпадала на май—июнь. По нашим делам время наиболее хлопотное... Еще шло следствие, сами мы не оправились от растерянности, строились всевозможные догадки, да и желание обнадежить самих себя было достаточно велико. Сессия в таких условиях факт, по меньшей мере, нежелательный. И мы решили ее перенести. Будет ли то конец лета, осень, а может статься, и зима — нас волновало мало... Важно перенести.

История с Николаем обретала новые оттенки, которые мы по своей неопытности предвидеть не могли, а значит, и сил они требовали немалых.

Меня обрадовало единодушие. Все было принято как само собой разумеющееся. Дело мы рассчитывали огласке не придавать, уладить все с деканом. По этой причине и заявление договорились подать каждый в отдельности. Вот и все сложности, впрочем, и случай весь.

Уже в конце мая начались экзамены. Мы узнали — Сергей заявления не подал... Говорят, отказались принять. Врет... Ребята, хоть и не верят, по сомневаются... А я нет... У меня с деканом разговор был.

Старик дал мне высказаться, а потом ошарашил.

— Я готов дать разрешение. Но существует одно обстоятельство. Лично мне оно не дает покоя. Ваш Тельпугов с подобной просьбой не обращался. Вчера органическую химию сдавал. Как же так получается? Вы просите отсрочку, потому как не можете сдавать экзамены. А Тельпугов, значит, может или... — декан не договаривает. Я вижу его вопросительный взгляд и опускаю глаза.

Согласитесь, трудно в течение одного разговора отрешиться от старых представлений и принять, как должное, новые. Не просто принять, привыкнуть.

Лицо Сергея отчетливо, прямо передо мной. Похоже на сон. И как по команде: «Я занят, у меня секция, сегодня никак, вот если завтра... горю масштабным огнем». А где-то сзади, как на световом табло... Ложь!

Декану не нравится мой вид:

— Ну... ну, — говорит он. — Право же, стоит ли так расстраиваться... Я и сам не рад, что затеял этот разговор... Для декана любой перенос — явление нежелательное. Вы меня понимаете? Я мог бы только радоваться поступку Тельпугова. Но, представьте себе, не радуюсь... Мы, старики, не лишены странностей. Декан поощряет срыв учебного графика. Не правда ли, забавно? Будем считать вопрос решенным. А за откровение на старика не сердитесь. И вообще ходите по земле, голубчик... Желаете оглянуться назад, оглянитесь. Только делайте это в начале пути.

Экзаменов было пять. Сережка сдал три — остальные перенес. Мы не требовали объяснений. Да и что они могли изменить? Все было несколько сложнее. Мы боялись Сережкиного откровения. И Димка прав. Мы боялись узнать больше, чем знали. Однажды подвели черту и теперь сидели с закрытыми глазами. «Все хорошо, остальное — частности».

Допустим, Сашку можно понять. Наивность если не главное качество, то одно из главных, что определяет Сашку.

— Подлость, — восклицает Сашка и решительно вскидывает острые плечи. — Н-не понимаю. Все время считался человеком — и вдруг... Так не бывает.

Сашке бесполезно говорить — так бывает, бывает и хуже. Сашка неисправим. Он искренне не верит, что подлость возможно совершить сознательно и ложь в состоянии стать движущей силой целой человеческой жизни.

Смотрю на него и думаю, так ли уж плохо, когда непосредственность — не минутное проявление твоего я, а твоя сущность. Появляется какая-то иная высота, вторая точка обзора, она позволяет тебе стать над чем-то обыденным, повседневным, увидеть, может быть, не столь отчетливо, но зато дальше. Таков он, наш Сашка... Сашку нужно понять...

Сложнее вступать в полемику с самим собой. Отчего ты поступаешь именно так, а не иначе? Я до сих пор затрудняюсь ответить, прав ли был тогда в сквере. И на следующий день и много дней позже.

У Димки не было разговора с деканом... Димка не верил, но сомневался. Димка презирал самокопание. И при всем этом Димка сказал — нет.

— Ты тысячу раз прав, Димка, — говорю я, и ощущение боли растекается по телу.

Были экзамены, был отпуск, и еще десятки таких же «но» были и, наверное, будут. Зачеркнуть никогда не поздно. Я задаю себе один и тот же вопрос. Как бы поступил Николай. В нашем споре у него есть право голоса... Лично для меня — неоспорим вывод. Он неминуемо сказал бы — попробуем еще раз, мальчики. Будет ли это последний раз, я не знаю. Я могу только повторить эти слова: попробуем еще раз. И не потому, что он поймет,

станет иным... Я в это не верю. Мне неприятен Сергей, его эгоизм. Не надо таращить на меня глаза, Сашка. Однако мы способны действовать только тогда, когда мы вместе, когда рядом каждый из нас со всеми своими «за» и «против».

— Ладно, может, ты и прав... Кто поедет встречать?

Димка еще глубже засовывает руки в карманы. Я поворачиваюсь к ветру спиной, пытаюсь закурить.

— Давайте жребий.

Сашка не то хмурится, не то улыбается.

— Можно и жребий.

\* \* \*

Перед самой работой, уже на ходу спросил Димку, как было дело.

— Обычно, — сказал Димка. — Сначала сидел ждал. Потом ждать надоело. Говорят, опаздывает на три часа. Пшел ругаться с начальником станции. Не заметил, как и поезд пришел. Уже ночь, а людей полный вокзал. Снуют туда-сюда. До сих пор в глазах рябит.

— А Сережка, он ничего не сказал?

Димка зло усмехнулся...

— Почему же, сказал. Я позади чемодан волоку. Тяжеленный, черт. А он этаким пижоном по перрону выхлестывает: в текасах, при шляпе и с гитарой. Идет и улыбается.

— Ты чего, — спрашиваю.

— Ничего, — говорит. — Думал, не встретите. Ошибся. Лешкина затея? Узнаю, — говорит, — его почерк.

Хотел смолчать. А потом думаю зачем.

— Чей почерк, — говорю, — неважно. Только мы лежачего не бьем.

Смотрю, Сережка аж посинел.

— Это в каком смысле — лежачего?

— Тут подошла машина и дальше разговора не получилось. Ну, а как приехали, он сразу в душ побежал. Я не дождался и уснул. Интересно, чего он завелся. Убей меня бог, но здесь что-то не так, Леша.

Прихватываю нужные бумаги со стола, замечаю, что у меня дрожат руки. Экая ерунда. Раньше за мной этого не водилось. Надо бы рассказать ребятам все. Один черт, из заплат кафана не сольешь.

— Опешил, говоришь?

— Не то слово — остыл, как лед.

— Значит, и в самом деле битый.

\* \* \*

Сергей приехал. Димка встретил его поздно ночью. Ничто не мешает нам объясниться. Подспудно я избегаю этого разговора. Результат очевиден заранее — разрыв. Цель не столь заманчива, чтобы к ней стремиться неудержимо.

Сейчас трудно восстановить детали, но, видимо, это случилось так.

На производственном совещании Сергея за что-то критиковали. Я уж не помню, за что. Приближались Октябрьские праздники. Гидролизный цех считался пусковым. Руководство рвет и мечет. Зрелище, прямо скажем, малоприятное. С другой стороны, дело есть дело. Все бы обошлось. Но в заключение совещания начальник неожиданно сказал:

— Руководству шестого участка следует помнить: Климов умел и ладить с людьми, и не срывать графика строительства. Желательно, чтобы участок не утратил этих традиций.

— Можете меня уволить, — запальчиво крикнул Сергей с места.

Кругом загадели. Николая хорошо знали на стройке. Выходка Сергея показалась мальчишеством. Разговор решили отложить до вечера. Сегодня — приемный день. И без того хлопот достаточно.

На стеллажах — пыль. Подбираю нужные для Николая книги. «Круглогодичное строительство в зоне вечной мерзлоты». Опять какие-то идеи. Сумасшедший человек. В библиотеке пусто. Надо думать совсем о другом. А из головы не идет Сергей. «Можете меня уволить». Это не просто так вспылил, погорячился. Как же я не догадался раньше. Скандал на совещании всего-навсего маленький спектакль.

«Творческий конфликт», «его здесь не понимают». Недурно обставлено. Нет, Сережка, фанфар не будет. Ты недооцениваешь своих друзей.

В общежитии обычная субботняя суeta.

— Мы готовы, — говорят Саша и показывает глазами на дверь.

Захожу в комнату. Как всегда, накурено — Димка неисправим. Сергей лежит на кровати.

— Ну?

— Я не еду, — бурчит Сергей и отворачивается к стене.

Пружины надсадно ахают.

— Что ему сказать?

Я не вижу лица Сергея, но знаю — оно сейчас очень злое.

— Алло, Серый, кончай валять дурака. Подумаешь, кису обидели. — Димка завязывает галстук.

Сергей стремительно вскакивает. Их лица совсем рядом.

— Ты, интеллектуал, — презрительно цедит Сергей. — Дергай свой эспандер и учи уроки. Ясно?!

— Нет, — говорит Димка. — Не ясно.

«Как хорошо, что нет Сашки», — успеваю подумать я и становлюсь между ними.

— Не надо, ребята, лучше потом.

Но потом получилось хуже.

Лена вернулась в начале октября. Встречались раньше на ходу. Иногда утром, иногда вечером. Несколько здоровались... Она похудела, домашние неурядицы порядком измотали.

Смотрю на нее и удивляюсь: либо притворяется, а может быть, действительно ничего не знает. Сергей мог скрыть телеграмму. Мало ли: звонили ребята, звонил сам. Лена приехала и сказала: «У меня умерла мама». Слова произнесены. Сомнения, недомолвки, подозрения отодвинуты за пределы этих тоскливых неживых слов.

Общение людей близких до невероятности усложняется, если одна из сторон их жизни находится под запретом...

Нельзя сказать: мы не встречались, были замкнуты, избегали друг друга. Скорее, наоборот, мы были оживлены и говорили обо всем сразу и ни о чем конкретно, словно желали как можно быстрее проскочить запретную зону наших отношений. Еще ничего не произошло. Все по-прежнему оставалось в области догадок и предположений.

Ползли слухи о ее переходе на работу диспетчером. Спросили: так ли это? Лена пожала плечами. Ни да ни нет. Больше спрашивать не стали. Ей виднее.

Шло время. Мы словно очнулись. Перестали писать кассации, выяснять часы приема всевозможных завов и замов. У нас появилось желание осмотреться кругом. В этом была своя логика, но и своя крайность. Вдруг начинаешь понимать: главное не там, впереди, куда ты стремился, а где-то совсем рядом. И то, что ты не в состоянии увидеть его, почувствовать, предвосхитить, рождает панику. И сразу все способное стучать, качаться,

двигаться настраивается на один ритм: «Быть беде, быть беде... быть».

\* \* \*

— Так дальше продолжаться не может.— Рейсишина с треском летит на пол. Чертежная доска качнулась, задела край стола и застыла в прежнем положении.

— Что именно?

— Ты сам знаешь.— Сашка зло вытягивает губы... Он только что вернулся с почты, отправлял деньги Колиной матери.

— Кто-то должен с ней поговорить...

— О чём?

— Обо всем... Сегодня я их опять видел вместе.

— В этом еще нет преступления.

Димка лежит на кровати, сосредоточенно курит. Димка не участвует в разговоре...

— Ну, чего молчишь. Разве я не прав? — Сашка смотрит на Димку сверху вниз.

— Прав, — отвечает Димка. — Но это мало что меняет.

— Наше бездействие вообще ничего не меняет. Оно лишь усложняет все. Мы обязаны хоть что-то предпринять.

— Обязаны, — соглашается Димка.

— Пусть Лешка поговорит с ней.

Димка поворачивает голову в мою сторону. Мне не понятно, смотрит ли он на меня или разглядывает обои над моей головой, а может, просто смотрит. Надо же куда-то смотреть.

— Почему обязательно Лешка? — Мои слова как-то проскальзывают мимо них. Вопрос повисает в воздухе. Димка с Сашкой независимо друг от друга поводят плечами.

— Она тебя послушает... Верно, Сашка?

— Верно!

Дело, конечно, не в том, кто главный, кто второстепенный. В моих отношениях с Леной больше высказанного. Я буду чувствовать себя свободнее, чем они.

— Послушает? Не знаю. Ей не десять лет.

— По крайней мере задумается.

— Ты так считаешь? Дай-то бог.

Димка болезненно морщится.

— Не надо, Леша... Прошу тебя.

— Ну хорошо. Допустим, я с ней поговорю. Разве это решение вопроса? Остается Сергей. Кто будет говорить с ним?

— Он должен уехать.

— Любопытно, но не очень убедительно.

— Димка прав. — Сашка потирает виски. — Пусть уезжает.

— А если у них все по-настоящему?

— Ну, знаешь ли. Все на свете возможно, даже подлость. Однако это не значит, что подлецы должны оставаться безнаказанными.

— Димка, ты становишься философом, это опасно.

Димка не обращает внимания на реплику...

— С Сергеем поговорим мы.

— Кто это мы?

— Мы: я и Сашка!

— Хорошо, только не вздумай затевать драку, Димка.

— Нет, нет, можешь быть спокоен. Все-таки пока нас пятеро... Еще сегодня он — это мы... Ну, а завтра... Да стоит ли говорить о том, что будет завтра.

\* \* \*

Это был жестокий разговор. Он сказал, ему надоело быть тенью. Он сказал, над нами смеются. В конце кон-

цов, закон есть закон. За головотяпство надо отвечать. А еще ему осточертело ходить с протянутой рукой и разыгрывать из себя образцово-показательного друга. Пусть этим занимаются другие.

Когда человека не узнаешь, невольно теряешься.

— Вы мне завидуете, — зедил он сквозь зубы. — Зачем же строить из себя моралистов? Лешка обо всем знал, но молчал. Он не такой примитив, как вы...

Я никогда не думал, что Сашка может ударить сильно, наотмашь по лицу. Я видел, как судорожно натянулись скульы и из зажмуренных, словно от ослепления, глаз его скупо выкатились светлые слезы. Выкатились и медленно поползли по щеке. Сашка плакал.

Сергей делает шаг назад, сжимает кулаки. Ладно, так даже лучше.

— До встречи, коллеги!

— Стой! — Димка загораживает дверь.

— Ах вот как? — Лицо Сергея становится совсем серым. — Ну что ж, на тебя это похоже.

— На этот раз ты ошибся. Тебе хотелось бы покинуть сцену оскорблением принцем. Мы лишим тебя этой возможности. Ты дермо. Марать о тебе руки — значит унизить себя. Ты трус, и как всякий трус способен только на удар в спину. А еще ты способен топить людей и предавать их. Мы знали все. Понимаешь, все! Нас душило презрение к тебе... Но мы жалели Ленку... А теперь убрайся. Тварь можно лишь вышвырнуть. Надеюсь, ты окажешься сообразительным.

— Ненавижу... Не-на-ви-жу!! — выдохнул Сергей. Большего он сказать не смог, рванул с вешалки пальто и выскочил прочь. Через минуту мы уже слышали сбивчивую дробь кованых сапог, медленно замирающую где-то в глубине лестничных пролетов.

— Все... — бормочет Димка, — все.

— Научился хлопать дверью... паразит.— Сашка опускается в единственное кресло и машинально трет переносицу.

\* \* \*

Мороз ударил неожиданно, в ночь.

Утром уже минус двадцать. Ветер становится бедствием. Каждый день кто-то обмораживается. Больше трех часов наверху не выдерживают. Первые дни положение спасает гусиный жир. Ребята напоминают ряженых. Эффект колossalный. Однако запах специфичный, привыкнуть трудно. Об идее пронюхали на соседнем участке. Жир быстро становится дефицитом. Главный — в панике. Конец декабря. Вот-вот — Государственная комиссия, а работы невпроворот. Люди выходят из строя пачками. Нужен снег, тогда станет легче. Все ждут снега. И снег выпал. Он шел семь дней кряду, ни на минуту не прекращаясь. И сразу город стал чуточку провинциальным. На заборах запестрели объявления об открывающихся катках и лыжных базах. На трамвайных проводах появилось предупреждение «Осторожно, снегопад».

\* \* \*

## 11 февраля

Мы идем по ночному городу и молчим. Конечно, у нас есть о чем говорить. Дело не в этом. Иногда чертовски необходимо вот так идти и молчать. Мне даже кажется, все по-старому: засыпающий город, нахохлившиеся сугробы, и Ленка, тихая и ласковая. Ну, а рядом с Лепкой мы — полные рыцарских достоинств и искрометного юмора. Но это только кажется. Я провожаю ее домой один. И в моих ушах неуклонно и настойчиво гудят Димкины

слова: «Пусть Лешка поговорит с ней». Уже все решено. И нет возможности ни уйти, ни спрятаться от этих слов. Она мне ничего не говорит, но я знаю — это осуждение. Осуждение нашего отношения к Сергею. Она мне ничего не говорит, но я знаю — это сомнение. Сомнение по поводу всего того, что произошло с ней и с нами. Она мне ничего не говорит, но я знаю — это сожаление. Сожаление — рядом с ней я, а не Сергей. Она мне ничего не говорит.

А завтра утром я буду, как всегда, опаздывать. Раздастся звонок, и я, ничего не подозревая, открою дверь, заведомо проклиная тех, кого черт несет в такую рань. И на пороге увижу мальчишку. Того самого Витьку, он когда-то обрезал звонок у ее квартиры. Мы нещадно драли его за это. Витька будет виновато перебирать губами, как если бы собирался что-то сказать, но вот сказать не может, а просто протянет конверт. Я сразу узнаю ее почерк, упрусь плечом в дверной косяк. Еще неизвестно, что в этом письме, а так стоять удобнее. Услышу Витькино сопенье — торопился, видно. Его бы расспросить, когда и кто передал письмо. Может и не рассказать, тогда и спрашивать незачем. Осторожно падрываю конверт.

«Лешка,— прочту я.— Леша. Пишу именно тебе. Хочу верить, что поймешь. Ты всегда говорил, в жизни должно быть все... настоящее. Пусть совсем маленькое, но настоящее, а не придуманное. Вы ботворите Николая. Наверно, так и должно быть. Он действительно нужный, добрый и талантливый человек. Но я не могу больше молчать. Хотела сказать тебе об этом, когда ты провожал меня, не смогла. Не хватило сил. А потом, все время говорил ты. Может, это и к лучшему: все разве скажешь? А в письме другое дело. И легче, и проще.

Почему именно Сергей? Не знаю. Просто он оказался

рядом. Приходил вечером. Мы шли гулять. Больше молчали, а если и говорили, то о Николае. Ничего не требовал. Ни о чем не просил. Думала — так надо. Как-никак, друг. Сначала привыкала, потом привязалась. А теперь вот — наверно, люблю. Однажды оглянулась, и нет Николая, а Сережка есть. Все думала, как вам сказать... Не получалось... Да и что скажешь. Пусть будет так, как есть. Судьба, значит.

О чём уж вы там с Сергеем говорили, мне, видно, знать не положено. Он молчит, я не спрашиваю. Вспыльчивым вот только стал, несдержаным. Ребенок у нас будет. Не знаю, жалеть или радоваться.

За Сергея зла на вас не таю. Значит, так надо. Простите и прощайте. И еще одно.

Николай хороший, но с ним трудно. Наверно, мне это не под силу. Вы все отличные парни. Постарайтесь понять меня. Ждать годы, чтобы потом сказать то же самое. Нет, я так не могу.

Целую вас всех. Еще раз прощайте. Лена».

— Вот и все, — вырывается у меня. И вздох при этом получается тяжелый, сдавленный. Я замечаю копопатого Витьку. Он так и стоит перед открытой дверью, лениво привалившись к подоконнику. Время от времени покусывает ногти. Витька любопытен.

— Что передать или черкнете? — небрежно замечает Витька и смотрит на мои разноцветные тапки.

Витькино присутствие действует успокаивающе.

— Да нет, брат, чего уж там. На вот, держи. — Я протягиваю Витьке двугривенный: — Мороженое купишь.

Витька, напуганный неожиданной щедростью, недоверчиво смотрит на монету, однако деньги берет.

— Не будет, значит, ответа?

— Не будет,

— Ну, как знаете, — бросает он на ходу и исчезает за дверью.

Никак не могу сосредоточиться. Глупейшее положение, даже словом перекинуться не с кем. Не проходит десяти минут, уже трясусь в автобусе — еду на стройку. Спустя час торчу в прокуренном коридоре, жду, когда вызовут Сашку. До Димки я дозвонился, с минуты на минуту он будет здесь.

Ребята по очереди перечитывают письмо.

— Я вас предупреждал, — говорит Димка. — Все имеет логический конец.

— Как ты считаешь, она написала Николаю? — Сашка на пределе, он даже стал заикаться.

— Не думаю.

— А-а-а Сережка?

— Ты олух, Сашка, понимаешь, олух!!! — Голос Димки срывается на крик. Это на него так непохоже. Куда делся немногословный, уравновешенный Димка? — Здесь не рыцарские баталии, — орет Димка. — Ты имеешь дело с подлецом. Понял? И этой...

— Дима!! Перестань! Она оказалась самым обычным человеком. За это не судят. Мы придумали ее. Ты, я, Сашка и даже Николай. Все вместе придумали, и каждый в отдельности. Она здесь ни при чем, Димка!

Сашка облизывает пересохшие губы, морщится. Рассиянно кивает не то нам, не то собственным мыслям.

— Он прав, Дима. Это все мы — недалекие фантазеры. — Сашка машинально поднимает воротник плаща и какой-то развинченной походкой уходит прочь.

— Ладно, — говорит Димка. — Пойду. У меня еще планерка.

Мы прощаемся.

«Может, оно и к лучшему, — успеваю подумать я. — Сначала все вместе, а затем уже каждый в отдельности».

Ты проиграл, так случается, остается признать поражение. Но ты медлишь. И не потому, что трус, безвольный человек. Нет. Пусть одна миллионная возможности, но, пока она существует, ты надеешься. А вдруг. Разве так не бывает? Издержки оптимизма. Может, нас называли дон-кихотами. Не исключено. Может быть, над нами посмеивались — допускаю.

Нам не удалось доказать тождества — согласен. Но кто сказал, что оно недоказуемо вообще? Попробуем еще раз.

\* \* \*

### Через год. 20 сентября

Уже прошло полсрока.

И на дворе опять осень. Слякотно, холодно.

Недавно мы сыграли Димкину свадьбу. Дело было решено давно, но свадьбу откладывали на осень. Традиция. Теперь у Димки квартира. Он весь в заботах. Мечется по магазинам, выискивая светильники, журпальные столики, всевозможные бра. Мы так и написали ему в наказе: «Дась материальную основу счастья». Конечно, культ вещей — это ужасно. Мы об этом тоже написали, но для начала кое-что надо.

Теперь у нас другая комната — 444. Смешной номер, правда? Говорят, счастливый. Судя по первому месяцу, нам это не показалось. Поживем — увидим.

Нам скоро защищаться. Сашка добивает последний чертеж, а я вот завяз с объяснительной запиской.

\* \* \*

Он вошел без стука. Его фамилия Казутин. Звать Иваном. У него большая семья. Трое детей. Я это хорошо

знаю. Два раза в году мы ему оказываем материальную помощь. Я вообще про него много знаю: и то, что он пьет, и то, что он нелюдим, и то, что он отличный каменщик. Я даже знаю размер его сапог — 42.

Он упал на стул и заплакал.

— Не хочу, не могу. — Широкое лицо дергается, и мутные капли слез начинают падать на стол.

Мы переглядываемся.

— Не виноват, не виноват,— бубнит чернявый, и снова судорожные, пьяные всхлипы заполняют комнату.

Первым в себя прихожу я.

— Стой. Как мы не сообразили сразу. Это же Казутин. Понимаешь, Ка-зу-тин,— почти кричу я.— Он был бригадиром у Николая. — Я чувствую, что начинаю задыхаться, и мой голос срывается на хрип.— Он виноват в этой истории. Слышишь, Сашка, виноват.— Мы обнимаем Казутина за плечи.

— Вань, Вань, ну успокойся. Ты же мужчина, Вань.

Всхлипы становятся тише, и осипший Иванов голос начинает бормотать:

— День рождения мой был. Сорок стукнуло.

Сорок? Странно, он выглядит старше.

— Уж забыл, когда последний раз отмечал. Лет пятнадцать прошло. А тут вот сподобились. Юбилей вроде. Гостей пригласили. Жена от радости слезами изспила. У меня давно столько гостей не было. Выпили крепко. День рождения — греха большого пет. Утром все, как в тумане. Николай Петрович мне еще с вечера указание дал. Как заступишь, говорит, проверь подкрановые. Я вроде и пошел. По дороге воды выпил. В горле сухость стоит. Тут меня враз будто в сон бросило. Запамятаю, куда и по какому делу иду. А как вспомнил, уже поздно было. — Казутин размазывает руками слезы, глаза сразу

становятся воспаленно красными.— Сам не пошел, боялся. Ждал, когда придут.

Ждал. Мы оторопело смотрим на Казутина. Ждал, а человек сел за решетку. Подонок, несчастный подонок.

Сашка, обессилен, откидывается на спинку стула. И вдруг, словно очнувшись, он всей грудью наваливается на дряблое тело Казутина и начинает орать ему почти в самое ухо.

— Но ты же был под следствием, ты показал, что никаких распоряжений не было.

Казутин вздрагивает, испуганно таращится на Сашку, вспоминает, что ему полагается плакать, и начинает быстро-быстро моргать глазами.

— Да, показал. На моем месте не то закукарекаешь. Три раза я по этой тропочке ходил. Хватит. Думал, завязал, баста. А тут опять. Дети — они уже большие. Старшего пацанца зэком зовет. А у него жизнь только начинается.— Казутин пытается унять внезапную икоту.— Прибежит домой. Папка, спрашивает, отчего так? Как ответишь? Ребенок — его ж воспитывать надо. А у меня их трое. Для чего жить тогда, если у них жизни не получится. Потому и показал. За них боялся.

Лицо Казутина вновь плющится в плаксивой гримасе, и из глаз бегут мутноватые слезы.

— Год мучаюсь. Не могу больше, не могу. Виноватый я. Пусть судят.

\* \* \*

## 20 октября

— Опять к Климу.— Старшина качает головой.— Дела... Между прочим, здесь место заключения, а не санатория, гражданин. На неделе второй раз. Не положено это.

— Точно... Не положено,— соглашается Сашка.— Но ты уж извини, надо.

— Надо. Всем надо,— недовольно повторяет старшина и возвращает пропуск.— Только в порядке исключения. В комнате свиданий пусто.

— Не особенно рассусоливайте,— бросает на ходу парень с сержантскими погонами и уходит за Николаем.

Наш приезд его озадачил. Он пощипывает чуть пробившиеся усы, слушает внимательно. Не перебивает. Знает, что потом придется говорить ему.

Да, все сказанное — правда. Он дал указание. Дело усложняла одна деталь. Как выяснилось, Казутин был пьян. Это подтвердила экспертиза. Он, как начальник участка, обязан был отстранить бригадира от работы.

— Я этого не сделал.— Николай задумчиво потер лоб.— Объект пусковой. Мы задыхались без людей. Казутин — отличный каменщик. Наверх я его не пустил, однако от работы отстранять не стал. Да и потом... Разговор с Казутиным был без свидетелей, он и я, больше ни души. Пока шло следствие, еще колебался. А потом решил — скажет сам, значит, скажет. Нет — значит, нет. В конце концов, понять можно — человек, он всего лишь человек. А семью кормить надо. Да и Сотина себе простить не могу. И Казутина ни кто-нибудь, сам на участок брал. Вот так, мужички. Теперь поднимать шум? Мне доверяют. Я тут вроде как за главного. Из трех полтора позади. Обещают досрочно выпустить. Хватит душу бередить. Казутина успокойте. Чем быстрее, тем лучше. А то по пьяной лавочке глупостей напорет... Почему нет Сережки?

Переход несколько неожиданный. Сашка с Димкой предпочитают не слышать.

— Сереги? — переспрашиваю я. Чувствую, как под его взглядом у меня потеют ладони.— Приболел.

— Вот как? — Николай внимательно разглядывал ребят.

— Грипп,— кивает Сашка и громко чихает.— У...жас, какой грипп. Азиатская форма.

— А... да, да,— рассеянно бормочет Николай и какую-то секунду стоит к нам спиной. Затем решительно поворачивается, и только сейчас мы замечаем, как он осунулся. Вот этих морщин у самых надбровных дуг раньше не было. А теперь есть. И привычки пощипывать усы тоже не было. Он изменился, очень изменился. Николай делает несколько шагов в сторону, затем снова возвращается назад и, скепив руки в тяжелый замок, начинает тереться о них подбородком. Он молчит, и наше беспокойство усиливается.

— Ты чего, Коля... а?

— У?.. Нет, нет... Ничего. Все нормально. Значит, бережете?

— Ты о чем?

Николай не замечает вопроса. Посчитав паузу достаточной, тихо продолжает.

— Ну что ж, и на том спасибо. Просто я думал, он сильнее. И смелее. Да-да, смелее.

Он заставляет нас впервые пожалеть, что рядом нет старшины с традиционным предупреждением «Граждане, свидание закончено... Граждане, попрошь...»

\* \* \*

Он никогда не опаздывал, наш бело-синий потрепанный ЗИЛ. А сегодня опаздывает. К этому никто не привык, и поэтому волнуются. Волнуются все. И мы тоже. Все, потому что не знают причины. Ну а мы, мы наоборот, мы знаем. Наконец он появляется, скандально позвякивая разбитыми рессорами.

— Ерунда какая-то,— негромко переругиваются люди и рассаживаются по своим местам. Автобус трогается.

— Я новый кондуктор,— говорит она точно так же, как когда-то это сделала Лена.

— Очень приятно, не надо только опаздывать,— шутят ребята с гидролизного.

Еще один квартал, и мы свернем на площадь Коммунаров.

Чуть покачиваясь, она медленно идет по проходу. Щелкает сумка, рвутся билеты. «На счастье!»— говорю я и протягиваю пятаки.

— Настоящие? — спрашивает Димка и трогает глянцевитую ленту.

— Только настоящие и только счастливые,— отвечает она и вдруг улыбается. Открыто, радостно улыбается.

\* \* \*

Все было так, как он желал этого сам.

Собственно, желал — это не совсем то слово. Всякий раз этот день виделся ему по-иному. «Меня будут встречать»,— говорил он сам себе. И начиная с первого дня необыкновенно верил в эту встречу. И всякая мысль о том, что встреча может не состояться, казалась нелепой. Но время шло, и очень скоро он понял, что встрече ему не кажется уже столь необходимой. Человеку, у которого позади длительная командировка, долгая дорога, даже отпуск, есть о чем спросить, чему-то позавидовать, в чем-то пожалеть.

Николай посмотрел на часы. Да, капитан прав. В его положении все эти: «Ну, как там у вас?», «Ты загорел», «Что нового», «Нагрянем в гости» не более чем плохо сыгранный спектакль.

Со временем он перестал ждать встречи. Он даже

боялся ее. Этот день обретал новые детали, оттенки. Приедет одна Лена, ну, в лучшем случае, Лешка. С ними проще. Они ближе других, реальнее. Лешка обнимет. Нет, сначала пожмет руку, а потом обнимет. И скажет: «Ну, здравствуй, Климов». А Ленка? О Ленке другой разговор. О Ленке столько думалось, что даже воспоминание об этом перестает быть просто воспоминанием. Эх, Ленка, Ленка. Все могло быть иначе. Он убеждал себя — так лучше. Ложь, о которой узнаешь раньше, теряет власть над тобой. Власть, может быть. Но боль остается. Тупая боль.

Пришло время, когда этот самый день утратил еще одну деталь. Из поредевшей толпы встречающих ушла Ленка.

Не ушла, нет. Надо было взять себя в руки. Запретить памяти вспоминать. А потом, потом он решил: «Встречи пе будет». Он уедет из этого места один.

На перроне засуетились. Диктор объявил о прибытии поезда. От бетонных панелей тянуло душным теплом. Ему почему-то казалось, что в этот день будет дождь, обязательно дождь. Тогда, два года назад, как только кончился суд, пошел дождь, крупный, скорый дождь.

...Его вели по коридору, и уже в дверях он услышал слова: «Дождь. Считай, у человека дорога дальняя. С утра вон как парило. Сил нет. А тут дождь. Значит, к удаче».

Он так и не сумел разглядеть говорившего. В коридорах и без того слепых в пенастые совсем глох свет, да и шли они быстро. Не разглядел, хотя ему очень хотелось увидеть того человека.

Объявили отправление. Николай протянул билет и шагнул в тамбур. В вагоне висела блеклая пелена табачного дыма. Люди сидели где попало, их ехало много, и еще один человек вряд ли был заметен. Однако сидящие в двух первых пролетах оглянулись. Николай маши-

нально провел рукой по волосам, одернул свитер. С той минуты, как капитан пригласил его к себе, чтобы выполнить несложные формальности, Николая не покидало болезненное чувство незащищенности. Какой-то внутренний голос без явного побуждения со стороны и, как он понял позже, без видимых причин заученно повторял: «Они смотрят на меня. Они догадались, откуда я». Губы Николая болезненно дернулись. Он почувствовал жаркую испарину. Ему стало совсем не по себе. Люди же занялись своими делами и уже не обращали на него внимания. И только женщина в платке по-прежнему настороженно поглядывала в его сторону. «Думает, что я вор». А старику вон и думать лень. Хотел уйти покурить, а теперь нет, будет сидеть. Старик же, словно желая оправдать его опасения, замечал тревожный взгляд и начинал в самом деле суетиться, ненужно передвигать вещи, оглядываться на соседей и громко сожалеть по поводу медленной езды и некстати грязнувшей жары.

Николай устроился где-то на боковом месте, неудобно выставив ноги прямо в проход. Теперь все сидели молча и смотрели на его длиные нескладные ноги.

Николай закрыл глаза.

...Капитан не удивился его просьбе. Он даже не сказал своего обычного: «Не положено».

— Думаешь, так лучше?

— Лучше, хуже, кто его знает. Спокойнее.

— Спокойнее,— согласился капитан.— Это верно.

Капитан сдержжал слово.

Через два дня уедет еще двадцать человек.

Но два дня, разница все-таки существует. Он возвращается домой.

Николай слегка приоткрыл глаза. Люди потеряли к нему всякий интерес, с каким-то дремотным безразличием смотрели в окно.

Проскочили Коровино. Он хорошо знал эти места. Года четыре назад тут не было ничего. Он ездил сюда за грибами. А теперь поселок. Николай попробовал сосчитать дома.

— Сорок четыре, сорок пять...

— Зря.— Дед сморщил губчатый нос и громко чихнул.— Еще на той стороне имеется...

— Пожалуй,— согласился Николай и снова закрыл глаза.

...Он возвращается домой. Впрочем, дома, как такового, не существует. Димка получил квартиру, Алеша с Сашкой перебрались в другую комнату. Наверно, двухместную. Живут как короли.

Сергей уехал. Почему в Березняки? Предложили место главного механика. Что ж, это довод. Окажись он на его месте... Нет. На его месте он оказаться не мог...

Ленка — жена Сергея. Когда-то он к этому привыкнет. Заставит себя привыкнуть. Но, видимо, очень нескоро. Как-то им живется... С какой-то затаенной надеждой он вдруг подумал, что живется им не так уж хорошо и где-то в душе Лена жалеет о случившемся. Он презирал себя за эти мысли. И то, что от них ему становилось спокойнее, удручало еще больше. Он мог понять Ленку, он мог ее даже простить. А Сергей? Отчего ему жаль Сергея. Теперь они вряд ли встретятся. А впрочем. Березняки не за тридевять земель.

— Пронино,— неожиданно сказал дед и стал собираться.

— Пронино,— машинально повторил Николай.— Следующая Химкомбинат.

Дед старательно связал два деревянных чемодана, проверил ремень на прочность, посмотрел по сторонам, словно хотел почувствовать, как относятся окружающие к его сборам, глянул мельком на Николая. Вроде

как понял, что больше обращаться не к кому, сказал:

— А ну-ка, подсоби малость.

И тут же с готовностью присел под нелегкую выручную кладь.

В Пронине выходили многие, с такими же деревянными чемоданами, сытыми корзинками, старательно убранными сверху разноцветным тряпьем, ушастыми мешками, от которых пахло парным мясом и жареными семечками. Вагон опустел. Поезд торопливо набирал ход. Николай видел, как плывет мимо Пронино, с неустроенной привокзальной площадью, ломаным рядом разновременных домов, подгнившими деревянными тротуарами, выщербленным асфальтом мостовых. Он пожалел, что нельзя открыть окно полностью. Сейчас начнется Химкомбинат. Уже угадывались первые признаки стройки. Песчаный карьер, перепутанные нитки накатанных на скорую руку дорог, по которым, тяжело заваливаясь набок, ползли груженые МАЗы.

— От Пронина до комбината всего десять километров. Если идти пешком,— вдруг сказал Николай вслух и рассмеялся. Это была Сашкина привычка все рассматривать с бытовой точки зрения.

— В день каменщик средней квалификации зарабатывает четыре рубля. Это равноценно,— предупреждающе поднимал Сашка руку,— стоимости тридцати килограммов хлеба. Прошу обратить внимание, тридцать килограммов, иначе неполных два пуда. Н-да, я слышал, что кто-то жалуется на жизнь.

— А в царской России? — Алешка даже не улыбнется.

Сашка не замечает подвоха.

— Вот именно, в царской России на душу населения в год потреблялось...

Сашка покусывает пальцы. Он ухитрялся запомнить самые невероятные цифры.

— Н-да... семь пудов. Вот так, Алексей Федорович. Маленький урок арифметики, вы научитесь мыслить реально.

Сережка в словесных потасовках, как правило, не участвовал. У Сережки свое амплуа — молчать. Он молчал, и они принимали это как должное и не старались его разговорить. Глупо. Живешь и не знаешь. Рядом существует человек, ты с ним встречаешься. Он не просто твой приятель, добрый знакомый. У тебя даже не возникает сомнения назвать его своим другом. У вас и дела общие и интересы вроде как одни. И вдруг в какой-то момент очевидное перестает быть очевидным. Человек совершает поступок. Обычный математический час, за который общеизвестный пешеход, идущий из города А в город В, пройдет шесть километров. Этот час перечеркивает принципы, суждения, человеческие отношения многих лет жизни.

Теперь поезд вышел на излучину, и стройка, словно захваченная ловкой петлей, придвигнулась ближе и оказалась вся на виду. Чуть слева одинаковые серые квадраты — это цеха готовой продукции, чуть дальше — башни газгольдеров, завернутые в серебряную фольгу, отчего напоминают перевернутые вверх дном оцинкованные ведра. Еще дальше — какое-то незнакомое производство, словно открытый человеческому взгляду кишечник, увеличенный до невообразимых размеров. Загадочные переплетения труб с выбросами вверх, в виде вопросительных знаков из тех же самых труб, но завинченных так лихо, что напоминали издали головы сказочных змей-горынычей. Видимо, это была очередь, которую начинали и собирались кончать без него. Уже совсем справа, навылет к самой реке виднелись планшеты развороченной земли с белыми кубиками временных строений, темный силуэт асфальтного завода, напоминающий недостроенный трамплин, над которым замысловатой вязью клубился жирный сажистый дым.

И все это стояло, лежало на желтоватом узоре наезженных дорог, по которым ползли жуки-самосвалы, над которыми искрились бенгальским огнем вспышки электро-сварки и длинноногие силуэты кранов лишь угадывались за дымной пеленой уже работающего комбината. И было удивительно, как эти строения, собранные воедино, умелись в сравнительно небольшом квадрате вагонного окна.

Все верно. У него было время подумать. Нет, он не раскаивается.

Могло ли быть иначе? Бессспорно, могло. Ему даже представлялось, будто кто-то с завидной настойчивостью требует его сожаления. Однако сожаления не было. Все могло быть иначе, правильно. Но тогда бы он никогда не узнал, что могло быть и так, как есть. В конце концов, он сам желал испытания. Желал, втайне надеясь, что все эти высокопарные слова останутся не более чем словами. Хотелось ли ему встретиться с ней? Нелепый вопрос, конечно, хотелось. И до сих пор он надеется, что эта встреча произойдет. Случайная, с намерением? Он не знает. Да и какое это имеет значение? Солгавший однажды не может рассчитывать на доверие. Женщина всегда остается женщиной. Он готов ее даже простить, если его прощение способно принести облегчение кому-либо. И если разговор с Леной с каждым новым днем словно растворялся во времени, терял необходимые подробности, острее и определеннее виделся ему Сергей. Они встретятся завтра, на следующей неделе, через месяц, через год. Когда угодно, но они обязательно встретятся. И в этой встрече, так же как и во встрече с Леной, не будет ничего неожиданного. Каждому из них эта встреча будет неприятна, и по мере сил своих они будут ее избегать. Но в один прекрасный день их пути пересекутся. «И вот тогда». Николай встряхнул головой. Ему не хотелось думать о том, что будет тог-

да. Но мысли нетерпеливы, в голову лезут именно те, которые больше всего гонишь от себя. Ему хотелось задать Сергею один вопрос, всего один. О чём думает человек, совершающий сознательную подлость? Убеждает себя в правоте своей, думает о благополучии, или его мучает совесть и сама подлость доставляет страдания? Он не вправе ничего требовать. И все-таки ему хочется знать. Вспоминал ли о нем, о Николае Климове, его закадычный друг Сергей Тельпугов в этот трудный неуживчивый год?..

\* \* \*

Сергей проснулся рано. Он легко подвинул отяжелевшее во сне тело жены к краю кровати и, зябко поежившись, осторожно потрогал пятками холодный пол. Квартира была еще толком не обжита, и в ней до сих пор чувствовался кисловатый запах клея и белил. Сергей поморщился, недовольно посмотрел на блеклые обои, синеватый потолок, окна без занавесок, отчего пустота квартиры чувствовалась особенно остро, тяжело вздохнул и стал одеваться.

Ему повезло дважды. Сначала с работой. Место главного механика городской автобазы подвернулось случайно и оказалось как нельзя кстати. Потом с квартирой. Новый дом планировали под жилье главным специалистам строительного треста, который со всем своим хозяйством перебирался в Березняки. В последний момент дело застопорилось. То ли главк не дал согласия, то ли воспротивились местные власти, однако переезд откладывался на времена неопределенные. Похоже было, всю затею сочли преждевременной и дом отдали горсовету. Четыре квартиры свалились на автобазу как снег на голову. Пока общественные организации вели бесконечный спор, в какой очередности распределять жилье, директор автохозяйства успел

побывать на областном партийном активе, где получил самые лестные отзывы о своем будущем главном механике. Подобная аттестация касалась сугубо деловых качеств Сергея Тельпугова и в целом была справедливой. Большой друг директора обещал при случае рассказать кое-что еще. Однако такого случая не представилось, да и сам директор не был любителем частностей, почему и уехал домой с глубоким убеждением, что на этот раз с механиком ему повезло. На следующий день директор вызвал Тельпугова к себе и вручил ключи от новой двухкомнатной квартиры. Разговор на партийном активе тоже был удачным совпадением, но он был, и поэтому оставалось только радоваться. Все складывалось как нельзя лучше, и все-таки этой самой радости не было.

Сергей неторопливо умылся, долго отлаживал бритву, затем так же неторопливо брился. Посмотрел на часы. Время словно остановилось. Не было еще шести. Сергей полистал чертежи. У него появилось несколько идей. Он сделал черновые наброски. Хотел успеть к пятнице. В пятницу директор уходит в отпуск. Если одобрит, то к его возвращению можно кое-что сделать. Эстакаду, например. Работа почему-то не клеилась. В соседней комнате заплакал сынишка. Лена, не открывая глаза, набросила на плечи халат и, натыкаясь на стулья, громко шлепая тапками, пошла к сыну. Сергей наклонился и в приоткрытую дверь увидел, как Лена кормит сына. «Она располнела после родов и стала неряшливой», — отметил он про себя и тут же почувствовал, как откуда-то из глубины поднимается привычное раздражение на жену. Врач говорит, что это обычное явление, через шесть месяцев все встанет на свои места. Однако прошел уже год, на место ничего не становится. Сергей бросает равнодушный взгляд на незаконченный чертеж. Видимо, он мог бы быть откровеннее с самим собой: и раздражение против жены, которое

он раз и навсегда определил, как привычное, и никак не желающее наладиться настроение работать, и даже их участившиеся ссоры с Леной — все это имело одну, в крайнем случае две причины.

Неделю назад он неожиданно встретил Сашку. Поехал на городской склад получать новое оборудование и уже на выезде нос к носу столкнулся с Сашкой. У него не было даже времени подумать, стоит ли здороваться или, может, лучше пройти мимо, как если бы они и не знали друг друга. Впрочем, мимо пройти было невозможно. Они встретились в проходной. Ему показалось, что Сашка не удивился их встрече.

— Привет,— сказал Сашка таким тоном, словно ничего не случилось и последний раз они виделись не далее как неделю назад.

— Привет,— выдавил из себя Сергей.

Он не очень понимал, как ему следует относиться к этой встрече. Радоваться или, наоборот, показать свою неприязнь, а может, лучше всего выразить свое безразличие.

Сашка сузил глаза и спросил:

— Удивлен?

— Удивлен,— согласился Сергей.

— А я нет,— сказал Сашка и, кому-то независимо кивнув, вышел из проходной.

Теперь они шли рядом.

Сергей ждал, когда начнет говорить Сашка. А Сашка, уверенный в том, что начинать придется ему, не очень торопился это делать, так как считал свое положение более благоприятным. Разговор очень долго был бесцветным и каким-то ненужным. Сашка говорил о несовершенном планировании, о том, что нынче время индивидуальностей, а значит, конфликты, споры, полемика должны стать нормой жизни. Сергей в чем-то соглашался, где-то возра-

жал и никак не мог отделаться от чувства напряженного ожидания. А Сашка все говорил и, казалось, не будет конца его философствованиям. И тогда Сергей не выдержал. Всю последующую неделю он упрекал себя за эту неоправданную вспыльчивость. Ведь умение молчать всегда было его козырем.

Сашка взял верх, Сашка перехитрил его. Весь этот разговор о жизни, это неудержимое словоблудие оказалось ловко рассчитанной игрой.

— Зачем ты приехал?

Вопрос не очень вязался с тем, о чем только что говорил Сашка, однако он легко справился с замешательством и невозмутимо ответил:

— По делам.

Сергей понял, что совершил ошибку, однако останавливаться было поздно.

— И встретился со мной ты тоже совершенно случайно?

— Отчасти,— ответил Сашка и очень спокойно посмотрел ему в глаза.

— Вот как. Тогда чем могу быть полезен?

— Ничем. А впрочем, нет. Где работает Лена?

— Это еще зачем?

— Так. Чисто человеческий интерес.

— Ах чисто человеческий. Тогда постараитесь найти иной источник информации.

— Боишься?

— Кого, тебя?

— Нет. Нас.

— Собачий бред. Она дома с ребенком.

— Сын, дочь?

— Сын.

— Поздравляю. Пусть наши дети будут лучше нас.

— Послушай...

— Руки, Сережа, руки. Между прочим, у меня новый костюм. Прошу с этим считаться?

— Что вам от меня нужно?

— Нам? Ничего. Милый и теплый разговор — моя собственная инициатива, не больше.

— Врешь.

— Даю слово.

— Не понимаю зачем? Прошли два года.

— Ты неточен. Раньше у тебя была лучше память.

Год и одиннадцать месяцев.

— Может быть. Ну и что?

— Ничего. В воскресенье возвращается Николай.

— Ах, вот в чем дело. Это следует понимать как предупреждение?

— Нет, информация. Обычная информация. Ты же никак не догадаешься спросить: «Ну, как там у вас?» Вот я и решил... Может, тебе будет интересно узнать.

— Да, очень интересно.

— Я так и думал. Ну, будь здоров. Привет от всех нас супруге. Надеюсь, ты не забудешь его передать?

Сашка ушел. А он еще очень долго стоял среди захламленного пустыря. Без каких-либо мыслей, желания, стоял просто так. С каким-то тупым безразличием смотрел прямо перед собой в грязно-желтые сплетения травы. Уехал ли Сашка сразу или еще какое-то время был в городе, Сергей не знал. Да и думать об этом ему не хотелось. Чем больше он убеждал себя в случайности их встречи, несерьезности, а еще лучше, кажущейся озлобленности их разговора, тем определеннее становилось ощущение беспокойства и страха, которое лишь иногда тускнело, но уже не могло исчезнуть совсем. Чего именно он боялся и был ли это истинный страх, какая разница? Всю неделю его мучали сомнения. Стоит ли вообще о их встрече рассказывать Ленке? Временами он уже готов был это сде-

лать, но вдруг в самый последний момент передумывал и тогда начинал непривычно для себя суетиться, говорить что-то невпопад. Лена удивленно смотрела на него, пожимала плечами и растерянно говорила:

— Ты становишься каким-то ненормальным.

На следующий день повторялось то же самое. Он возвращался с работы измотанный внутренним беспокойством.

Несколько раз выговаривал себе: «Я скажу все, так будет даже лучше». У него был свой ключ, но всю эту неделю он предпочитал звонить. С нетерпением ждал, когда откроется дверь и он увидит ее лицо. Дверь открывалась. В передней был потущен свет. Это казалось ему плохим предзнаменованием. Она говорила: «Здравствуй» — и уходила к сыну. В погах появлялась отвратительная слабость. На кухне, пригибаясь под гирляндой непросохших пеленок, Сергей садился за стол и снова ждал, когда придет она, наступит удобный момент, и вот тогда... Увы, но тогда ничего не случалось. Она возвращалась с сыном на руках. Сергей настойчиво заглядывал ей в лицо. Ее это смешило. Очень скоро он понимал, что его опасения напрасны. Она ничего не знает. Теперь, как нарочно, все мешало их откровенному разговору, а ему почему-то становилось легче. «Стоит ли,— спрашивал он себя, словно беспокоился, что передумает, и тут же торопливо отвечал: — Поживем — увидим, а пока не стоит».

\* \* \*

Иначе быть не могло. Лена обо всем узнала сама. И Сашка тут ни при чем. Какое-то письмо, какая-то подруга. Да мало ли причин, удобных, случайных, обычных причин.

Директор отнесся к его идеям неопределенно. Похло-

пал по плечу и назидательно сказал: «Молодо-зелено. Мне бы ваши годы. Достаточно дерзко, однако спешить не будем».

При их разговоре главный инженер молчал, а когда директор ушел, громко высморкался и, не глядя на Сергея, буркнул:

— Ни к чему все это, Сергей Дмитриевич. Суeta.

Надо бы смолчать, но Сергей не выдержал:

— Вас послушай, в болоте сидеть — высшее наслаждение.

Заместитель скорчил болезненную гримасу, левый глаз его невпопад дернулся, а затем тоном невыспавшегося человека сказал:

— Мальчишка, сопляк. Тебе союзники нужны, а ты врагов плодишь.

От столь неожиданного назидания Сергей оторопел, а когда надумал что-то ответить, Шухов уже вышел. Идеи, которые еще вчера казались ему гениальными, разом поблекли, и воспоминания о них вызывали в душе лишь чувство тоскливой досады.

Он уже готов был пожалеть, что напросился на этот разговор с директором, и вообще стоило ли переезжать именно в этот город, и уж совсем преждевременна его буйная радость в связи с назначением на новую должность. Он искренне считал себя человеком несчастным. Порой ему даже хотелось заплакать, и Сергей непременно заплакал бы, не крутись кругом люди, со своими идеями, со своими заботами, от которых никак нельзя отмахнуться. Вспоминать в такой момент о встрече с Сашкой было совсем некстати, но именно сейчас подобные мысли лезли в голову, отчего Сергей еще больше мрачнел. В конце концов, принимать или не принимать новинки, предложенные главным механиком, — это право директора, в таком случае смешно обижаться. То, что кажется тебе

открытием, для них не более чем еще один изобретенный велосипед. Эстакада — это, пожалуй, действительно современно и даже дерзко. Директор же сказал так: «Но ты не подумал, может, легче проложить триста метров дороги...» Тебя спросили, если сделать иначе? Что ты ответил. Ничего. Развел руками. Дескать, специализация на ремонте необходима. Подумаешь, удивил. Еще семь механиков широкого профиля. А где их взять? На схемах все достаточно убедительно. Но... Ах, боже мой, он же ни на что не претендует. Если они рассчитывают в его лице иметь еще одного оперативного исполнителя? Ну нет, ошибаешься.

Сергей небрежно скатал чертежи и забросил их в шкаф.

— Черт с ним!

— Не чертыхайтесь. И вообще уменье обуздовать собственные чувства — редкое качество и потому очень ценное.

Василий Шухов, он же главный инженер городской автобазы, вошел в кабинет главного механика без стука.

— Как я и предполагал, кабинет кажется вам тесным, вы сожалеете, что под руками нет посуды, которую можно грохнуть об пол, и вообще вы с удовольствием бы намяли кому-нибудь бока. Директор, бог с ним, думаете вы. Но главный, главный каков. Старая песочница, архаизм. Неправданно, уже было, слишком обще.

Шухов так ловко передразнил сам себя, что Сергей невольно усмехнулся.

— Зря яритесь, молодой человек. Во-первых, я ваш непосредственный начальник, прошу об этом не забывать. Это, так сказать, официальная сторона вопроса. А теперь несколько слов о жизни. Сколько вы здесь работаете?

— Три месяца, — буркнул Сергей и отвернулся к столу.

— Вот именно, три месяца. Возможно ли, чтобы человек, абсолютно незнакомый ранее со спецификой производства, кроме того, имеющий возможность видеть отчетливо лишь одну его сторону, добавлю, и не успевший пока войти в курс дел собственных, не знающий квалификации кадров, по истечении трех месяцев предлагает реконструкцию производства в целом. Что это, гениальное пророчество, логически доказанный эксперимент?! Молчите. Тем лучше. Я сам отвечу. Ни то и ни другое. Обыкновенная неопытность, помноженная на воспаленное тщеславие и, если угодно, болезненную самонадеянность. Я не претендую на ваши смелые мысли. Они были и останутся вашими. Но иногда следует подумать, так ли уж верны эти мысли. Попрошу вас учесть впредь. Уменье советоваться, слушать не исключает способности творчески мыслить. Вот так, мой дорогой.

Жизнь, Сергей Дмитриевич, подобна большому водному, увы, не всегда прозрачному. Все мы начинаем с глубинки, с земли-матушки. Не спешите выплывать на поверхность. Разница давлений — момент опасный, очень опасный. Полагаю, законы физики вам известны. Вот и в жизни то же самое. Погуляйте на глубине, приглядитесь, как там, наверху, кто там, наверху. А уж потом, н-да, всплывайте.

Во время всего разговора Сергей стоял с каменным неподвижным лицом. Шухов это заметил, но, видимо, поняв по-своему, добавил.

— А теперь смените гнев на милость и шагайте домой. Ваша жена интересовалась, где вы.

— Жена?

— Да... да, мне показалось, жена.

Шухов зевнул и, кивнув на прощанье, толкнул дверь.

— Завтра я буду в десять. Так что, если есть какие-то дела, прошу.

Дневная суетолока отодвигала домашние заботы кудато на второй план, и только сейчас после напоминаний о Лене Сергей почувствовал, как смутная тревога обволакивает мозг и уже на смену злому и обидному, о чем он только что думал, движется необъяснимое беспокойство и щемящий страх. Пожалуй, за все время их совместной жизни, да и вообще знакомства, подобный звонок на работу был первым. Сергей не стал интересоваться свободными машинами, взял плащ и, подхватив ставший необыкновенно легким портфель, выскочил на улицу. И хотя понять причину волнения было не так сложно, Сергей удивлялся его чрезмерности, отчего испуг становился сильнее. Он застал Лену сидящей в большой комнате. На щеках еще видны следы слез. Лена отрешенно смотрит прямо перед собой. Она даже не оборачивается на стук двери.

— Ты знал и молчал,— говорит Лена куда-то в пустоту комнаты, говорит устало, будто намерена этой фразой закончить, а ни в коем случае не начать разговор.

Какой-то десяток секунд, а может, целую минуту он раздумывает, надо ли так сразу принимать этот вызов, не проще ли в чем-то усомниться, сделать удивленное лицо, а уже потом постепенно сказать все то, о чем думал, объяснить, почему молчал, хотя почти был уверен, что говорить все равно придется. Но уже следующая фраза перечеркивает все разом.

— Значит, Сашка не ошибся.

— Ах, оставь, при чем здесь Сашка.— И вот уже какой раз раздражение выплеснулось наружу.

— Да, конечно, Сашка здесь ни при чем.  
Лена поводит плечами.

— Сейчас ты скажешь, что оберегал мой покой, мое достоинство, что они хотят поставить тебя на колени, но ты не из таких. Ах, как я хорошо знаю, о чем ты скажешь сейчас.

Сергей неудобно привалился к дверному косяку и вдруг, казалось, почувствовал горячий ток крови, который хлынул куда-то вниз, оставляя холодными и неподатливыми губы, щеки, массивный лоб, покрывшийся разом липкой испариной. Он отчетливо увидел Сашку, тяжелые челюсти Димки, застывшие на уровне его глаз, пухлые Лешкины губы. Они неподвижны, но в них существует какая-то скрытая брезгливость. Сейчас губы сложатся в усмешку, и сразу все станет очевидным — они презирают его. Он увидел всех сразу, а еще он увидел низкий потолок комнаты встреч, и стол посредине с десятком перегородок, и Николая. Он сидит, чуть наклонившись, руки выброшены прямо перед собой на тот же обшарпанный стол. Сейчас он поднимет голову, согласно покачает ей, будто все сказанное ему известно заранее, и вопрос «где Сергей», и как там Лена. Все вздрагивают, а Лешка поморщится от этого вопроса. Он хорошо видит, как Лешка морщится. Нижняя губа оттопырена, отчего делается еще толще, словно Лешке что-то сказали обидное. А на самом деле Лешка презирает его. И ему неприятна эта вынужденная необходимость даже вспоминать о нем. И вот теперь они пришли сюда. Они восстановили против него Лену. Они мстят ему, они... Горечь и неприязнь — все разом перемешалось и, накатываясь одно на другое, хлынуло из него и заставило говорить сбивчиво, непоследовательно, зло.

— Нет, ты не знаешь, ты ничего не знаешь. Теперь вы все заодно. Я ушел со стройки, уехал из города. Нужели этого мало? Они преследуют меня даже здесь.

А ты? Ах да, я и забыл, ты всего-навсего женщина —

существо, не созданное для борьбы. Ты оказалась во власти смятения, растерянности, и я воспользовался этим. Какая там любовь, о ней нет и речи.

Сергей горько рассмеялся.

— Во всем виноват я, тиран и карьерист. Ну нет, дорогая, иногда полезно услышать правду о самой себе. Маленькая убитая горем женщина. К черту наивность, тут ею и не пахнет. Расчет, расчет, расчет. Все взвешено до мелочей. Ты выбрала меня, потому что я выгодней. Я тщеславен, и ты поставила на мое тщеславие, как ставят на резвую лошадь. А теперь вдруг в тебе заговорила совесть. А где она была вчера, твоя совесть, где? Оказывается, ты всего-навсего жертва, обманутое, невинное существо. Какой же я осел! Нет, милая моя, тебя ждет разочарование.

Отрывисто щелкает зажигалка, он никак не может прикурить.

— Да, разочарование. Ты надеешься на отпущение грехов, но их слишком много. Не я, а ты предала его чувства. Не я, а ты сказала: «Так будет лучше». Да, я любил тебя, но разве ты была безучастна к нашим отношениям. А наши встречи, их было не так мало. Так что всякий разговор о смятении, растерянности — удобная ложь. Еще не состоялся суд, а ты уже пришла ко мне. Не к Лешке, который завяз во всей этой истории, и еще неизвестно, чем бы она для него обернулась, а ко мне. Я стоял в стороне. У меня все ладилось. Я был выгодней. Ты помнишь, Николай позвонил поздно вечером и сказал, что хочет приехать к тебе. Но завтра был суд. Надеюсь, ты не забыла придуманной легенды: к хозяйке приехали родственники, и в твоей комнате она устроила спать свою сестру. А я лежал на диване и все слышал. Вот тогда я понял,— Лена Глухарева не так наивна. Мне показалось это удачной выдумкой, и я постарался ее забыть. Хотя мне стоило

подумать, ой как стоило подумать. Но я был влюблён, и все мои мысли были вывернуты на один манер. Теперь же ты настроена все забыть. И вот уже в какой раз эти всплески: «Как ты мог», «Ты знал и молчал».

Да я мог. Работать по пятнадцать часов, чтобы вам, Елена Анатольевна, жилось безбедно. Да я мог заставить вас поступить в институт. Я многое мог, и мое умение до сих пор не шло вразрез с вашими удобствами... Оказывается, все это было несерьезно. Затянувшийся антракт между первым и вторым действием. Наступило прозрение. Ты поняла, что ошиблась. Ты не можешь забыть его... Кого ты хочешь обмануть? Меня? Я и так в дураках. Его? Он умнее, чем ты думаешь. Себя? Стоит ли обманывать себя дважды.

И не совесть, не терзания душевые тому причиной. Вернулся Николай, и все вновь заговорили о нем — вот в чем дело. И опять расчет, голый расчет, Елена Анатольевна.

Теперь он сказал все. Здесь не место, да и не время упрекать себя, зря или не зря. Сегодня она собирает вещи и уедет к матери. А что будет делать он?

Лена стояла у окна. На улице начинает темнеть, и ему виден лишь ее профиль и край платка, который еще больше загораживает и так плохо различимое в полумраке лицо.

— Ну что ж,—шепчет Лена, и в этом звенящем вздрагивающем голосе он улавливает скрытую угрозу.— Ты... ты злой и завистливый человек. Ты беспощадный человек. Ты мне неприятен, слышишь, омерзителен. Уходи, я не хочу видеть тебя.

Сергей болезненно поморщился.

«Господи, неужели вспышка, которую он породил своим откровением, не вызывает даже слабого намека ярости, и все, абсолютно все, как и прежде, завязнет в

этих бесконечных причитаниях: «Ты меня не любишь, все могло быть иначе».

Сейчас она начнет всхлипывать, и он будет просить у нее прощения, целовать ее руки, говорить, что он несчастен, что потерял голову от любви и еще невесть какие слова утешения и сострадания, от одного воспоминания о которых ему становится так скверно на душе, что впору плунуть на все и заплакать. Лена молчала, а он терзался догадками и уже не знал, что ему хочется больше, то ли того, чтобы их разговор остался рядовым скандалом, после которого семейная жизнь вновь войдет в зыбкое неудобное русло. А может быть, взрыва, негодования, крика, чего угодно, только бы развеять эти невыносимые сомнения. Боже мой, неужели она права.

Однако молчание было недолгим. Лена вдруг решительно повернулась и тихо, но отчетливо сказала:

— Подлец, редкий подлец.

Сергей вздрогнул. Еще некоторое время стоял, потирая виски. И никак не мог сообразить, на самом деле она назвала его подлецом или ему это показалось.

Лена закрывает лицо руками, пугаясь в полах не по росту длиного халата, выбегает прочь. Хлопает дверь, и через минуту он уже слышит равномерный звук журчащей воды и громкие всхлипывания.

«Скверно,— думает Сергей,— как же все скверно».

Случилось худшее. Ее нежелание отвечать превратило весь этот разговор в обычную истерику озлобленного человека.

\* \* \*

— Вас,— усмехнулась секретарша и показала глазами на лежащую рядом с аппаратом телефонную трубку.

— Меня? — Николай покачал головой.— Здесь какая-то ошибка.

Секретарша несерьезно фыркнула и уткнулась в стопку бумаг.

Теперь уже все сидящие в приемной, а их было человек шесть, с плохо скрываемым любопытством разглядывали его. В любое другое время он не обратил бы внимания на грубоватую улыбку секретарши, ни на это случайное собрание скучных, невыразительных лиц, которые вот уже час томились ожиданием и тем не менее никак не рискнули бы выразить свое неудовольствие. Именно так. В любое другое время, но не сейчас.

Он не был суеверен. Хотя непонятные обстоятельства двух последних дней сделали его пристрастным и подозрительным. Сначала эта шумная встреча, словно его собственный приезд был внезапным только для него. Потом предложение поехать, отдохнуть, развеяться. Путевка в Крым. И как суммарный итог всем прочим удивительностям внезапный вызов к Фролову и разговор, разговор доверительный и невероятный. Сначала он молчал. А потом сказал, что не знает, не знает, что ответить, так как все происходящее напоминает ему плохо придуманный сон.

Фролов сразу стал очень серьезным. В его голосе послышались нотки сожаления.

— Напрасно,— сказал начальник стройки. Лично его не устраивает роль сказочного волшебника. Разумный шаг не прихоть начальника, а необходимость.— Вам сколько? — вдруг спросил Фролов.

— Двадцать восемь.

— Вы когда-нибудь думали, что такое четверть века?

— Нет, не думал,— признался Николай.

— А зря... Я в ваши годы уже возглавлял приличное строительство. И имел много, очень много неприятностей.

Вчера у меня был секретарь обкома комсомола и знает с кем?

- Нет.
- С Харламовым. Помните Харламова?
- Помню.

— Светлая голова. Это хорошо, что он теперь в Москве. Предлагают объявить стройку ударной, комсомольской. А я смеюсь. Какой же из меня комсомолец? «А вы, говорит, омолодитесь. Климова в заместители возьмите». То, что в их разговоре присутствовал как бы третий человек и этим третьим человеком оказался Харламов, не могло быть простым совпадением. Надо полагать, вы думали о возвращении на стройку? — Фролов сделал на последнем слове ударение, как бы давая понять, что лично у него на этот счет нет сомнений. И если он спрашивает, то только из желания сделать их разговор более понятным и определенным.

- Разумеется, думал...

Этот старый и, видимо, порядком уставший человек вдруг неожиданно напомнил ему отца. Отец погиб в тридцать четыре года, и Николай никогда не видел его да и не мог видеть постаревшим. Но по мере уходящих лет отец не забывался, скорее, наоборот, моложавый, всегда улыбчивый, отец жил в памяти и не просто жил, а старел, как стареют все люди. Ругался на случайную седину, потом седел полностью, а значит, ругаться было уже не впрок, тяжелел походкой, и все тело становилось более массивным и неповоротливым. Отец говорил, советовал, пропадал на месяцы, иногда на годы, но затем снова появлялся, словно желая напомнить, что он есть, а значит, и дело подвернувшееся положено обмозговать.

Он думал о возвращении на стройку, и отец думал вместе с ним. И в мыслях их было полное согласие. Отче-

го сам Николай уверовал, что иначе быть не может. Однако ж Фролов говорит совсем другое.

— Товарищ Климов, вас просят к телефону.— Секретарша берет его за руку и проводит к столу. Он слышит, как кто-то смеется за спиной. Надо бы обернуться и посмотреть, кто это. А впрочем...

— Да, я слушаю.

— Николай?

Нет, он не узнал. За последние два года он отвык от телефонных разговоров. Если возможно почувствовать чужой голос, то он его почувствовал.

— Да это я.— Какую-то секунду он медлит, а затем тихо добавляет: — Лена...

— Значит, ты вернулся?

Ему мешает присутствие этих людей. Он отворачивается к окну, словно от этого его голос будет менее слышным.

— Вернулся...

— Я рада. Интересно, как ты выглядишь.

— Обычно...

— Сколько же мы не виделись, полтора года.

— Да, и еще четыре месяца...

— Боже мой, как же летит время...

Завтра будет месяц как он в городе... Не так много, но и не так мало. Собственная скованность, какая-то неподъяснимая невластность над событиями уже перестала удивлять его. Минутами позже Фролов, сейчас Лена, через какое-то время еще кто-нибудь.

— Ты, как всегда, занят? — Лена тут же поняла всю нелепость своего вопроса, хотела поправиться, но он уже что-то отвечал.

— «Как всегда» было очень давно. Пока же ничего конкретного. По этой причине я сравнительно свободен.

— Я понимаю, мне следовало догадаться самой, дей-

ствительно глупый вопрос. Мы можем встретиться?

Николай переменил позу: рука затекла и стоять было неудобно. За спиной открывались и закрывались двери. Видимо, приходили новые люди. И хотя лица его не было видно, могло случиться, что его все равно узнают и тогда разговор немедленно оборвется.

— Хорошо, но будет ли это удобно?

— Не знаю, не думала.

— В таком случае когда и где?

— Не знаю...

На какую-то минуту ему показалось, что все действительно как и прежде. Сейчас он выскочит на улицу и встретит ребят. Димка уже в спортивном костюме. Сашка забыл рюкзак, и потом надо же что-то сказать Катюше. «Междур прочим, она с удовольствием бы поехала,» — говорит Сашка на всякий случай и обиженно вытягивает губы.

Алеша еще нет, Алеша придет последним. Нет, он не опаздывает. Он просто придет последним. Потопчется на одном месте, почешет за ухом, а затем скажет:

— Я вообще-то не очень уверен, что надо ехать. Холодно, какая рыба.

— Где же Сергей?

— Сергей? — переспрашивает Лена.

— Сергей, — машинально повторяет Николай.

— Я тебя не понимаю.

Она его не понимает. Николаю вдруг становится весело. В самом деле, при чем здесь Сергей.

— Алло, ты меня слышишь?

— Разумеется.

— Вот и прекрасно. Тогда через час у Старых ворот.

Уже на выходе он успевает заметить несколько знакомых лиц. Времени для разговоров нет. Открывается дверь кабинета, и в приемной появляется Фролов. Все подни-



маются ему навстречу. Отлично, есть возможность уйти незамеченным.

У Старых ворот шумно. Прокладывают туннель. Говорят, будут сносить соседние дома и расширять проезд-

жую часть. По проекту здесь должна быть площадь. Уже и название придумано: «Площадь Космонавтов». А ворот не станет. Их попросту снесут. Пройдет время, и никто не будет знать, что именно в этом месте на перекрестке трех незврачных улиц когда-то стояли Старые ворота. Нет, их не ждет будущее исторических реликвий. Они не были замечены великими мира сего. И то, что на этом месте встречался какой-то Витя с какой-то Наташой и еще тысячи Наташ приходили сюда с замиранием сердца, никого не интересует. Увы, но камни с надписью «Мила + Сережа» еще не обрели археологической ценности. Старые ворота всего-навсего спесут, значит, случится еще одно добропорядочное безрассудство, о котором никто и никогда не догадается. Николай ласково погладил шершавые камни. Ворота стоят на самом солнцепеке. От камней тянет пыльным теплом.

— Осень,— бормочет Николай и прижимается спиной к колонне.

Лена изменилась. Отсюда, из-за колонны ей удобно наблюдать за ней. Остановилась, смотрит на часы. Оправданное волнение — опоздала на двадцать минут. Для чего мы встретились. Неужели за два года возможно так отвыкнуть от человека. Ну хоть каплю волнения, восторга, злости наконец. Ничего. Пусто. Там, у кромки тротуара, стоит она. А тут, за колонной,— он. Мы поменялись местами. Тогда он тоже приходил первым и в сотый раз выговаривал себе, что ее следует проучить. Вечные опоздания. Она подкрадывалась незаметно и становилась за эту самую колонну.

— Сколько можно, я тебя жду целый час.

Минуту назад он был переполнен негодованием и готовностью обрушить на ее голову тысячу упреков и обвинить во всех существующих и несуществующих грехах. Но стоило оглянуться, увидеть виноватую улыбку, и уже

можно все забыть, вместе с ней радоваться этой маленькой невинной хитрости. Он смотрит на Лену и ловит себя на мысли, что ему не хочется делать этот неловкий шаг вперед и вообще ему не хочется покидать мир собственных воспоминаний. Ах, как не хочется.

И потом Николай почти уверен, Лена догадывается, что он здесь. Николай делает глубокую затяжку, внимательно следит за сизоватыми кольцами дыма, которые словно прижимаются к камням, ползут все выше, выше, пока их не заденет ветер, и тогда кольца превращаются в сизоватую паутину, что недвижно повисает в темном проеме туника.

— Глупо играть в прятки.— Окурок, кувыркаясь, летит на мостовую.— Глупо.

Она не оборачивается, хотя знает, что подошел он,

— Ты давно приехал. Я так и думала.

— Ждала, когда я подойду сам?

— Нет, просто собиралась с мыслями.

— Вот как.

— О чем же мы будем говорить?

У нее все та же привычка повязывать платок на шею. Раньше это придавало ей озорной вид. Теперь? Теперь беспомощный. Ничто не постоянно в этом мире, даже мелочи.

— О чем хочешь.

— Это нелепо звучит, но я действительно не знаю, о чем мы можем говорить сейчас.

— Ну, мало ли о чем. Если есть желание, можно говорить о чем угодно.

— Вот именно, стараясь не касаться главного...

Теперь они смотрят друг на друга. Он постарел. А может, это всего-навсего загар.

— Я часто задаю себе вопрос, почему все получилось именно так.

— Получилось... — Ему трудно скрыть грустную усмешку.— Проклятая жизнь. Не так ли???

— Ты вправе осуждать меня, но пойми...

— Постой, я без сожаления это право уступлю тебе. И давай договоримся раз и навсегда. Я ни в чем не осуждаю тебя... Нельзя же требовать от людей видеть и понимать жизнь так, как этого хочется нам. Каждый видит в жизни что-то свое, только ему доступное.

— Все произошло слишком неожиданно.

— Да, разумеется. Беда никогда не бывает кстати.

— Нет, я не о том. Я растерялась. У нас же все было решено, ты помнишь? И вдруг надо от всего отказаться. Твоя беда была только твоей. Ты старался оградить меня. Ребята тоже хороши. Они все делали так, как хотел этого ты. Все думали, так будет лучше?

— Все, кроме Сергея?

Какую-то секунду они смотрят друг на друга. Николай замечает ее растерянность, и ему становится неловко за свои слова.

— Прости, я не хотел...

— Нет, отчего же, ты прав, кроме Сергея. Получилось иначе. Одно время мне даже подумалось, что ты не доверяешь мне. Мы перестали чувствовать друг друга, потеряли связь. И тогда появился Сергей. Он оказался рядом.

— Ну вот видишь, все достаточно банально. Виновато одиночество.

— Ты мне не веришь?

— Не знаю. Я просто не хочу вспоминать. Даже в памяти, видимо, существуют ситуации, которые не хочется переживать дважды.

— Я понимаю. Поверь, мне тоже тяжело.

Николай рассеянно кивнул.

— Возможно. Не понимаю только, зачем мы затеяли

этот разговор. Чего ты хочешь. Сказать, что во всем виноват я?

— Я ничего не хочу.

Они не заметили, как прошли мимо Старых ворот и углубились в один из бесконечных переулков старого города.

— Да... да... не хочу. Я просто говорю, тогда, два года назад, ты мог, ты должен был быть откровеннее. Ты опытнее меня. Я была в отчаянии — натуральная истерика, когда ничего не понимаешь, ничего не чувствуешь. Живешь как в тумане. И люди кругом какие-то ласковые, слащавые. Сожалеют, высказывают опасения. С ума сойти можно.

По переулку брели одинокие прохожие. Было слышно, как во дворах напротив щелкает домино. По крыше сарая ходил парень и без конца повторял: «Митя, ну куда он делся, а Мить...»

Николаю почему-то стало грустно при виде этих приземистых домов с почерневшими створками окон, обязательными завалинками у ворот, запахом переспевших яблок. Доброе захолустье почти в самом центре города — удивительно.

— Ты, кажется, меня не слушаешь?

Николай рассеянно посмотрел на Лену. Ее губы двигались непроизвольно, сами по себе.

— Напротив, хочу понять тебя.

— Видимо, следует просто слушать, и все будет более очевидным.

— Ну хорошо, ты хочешь поделить нашу вину пополам. Пусть так. Но пойми, все уже случилось. Нелепо вспоминать прошлое.

Лена сокрушенно вздохнула.

— Прошлое... не знаю. Для кого как. А для меня это до сих пор настояще.

Она ошиблась. Николай не просто изменился. Ей говорили, что его трудно узнать. В ее воображении эти перемены не уходили дальше обычного круга видимых перемен. Осунулся, раздался в плечах, стал задумчив, вспыльчив, более многословен. Нет-нет, ее встретил другой Николай, человек, которого она видит впервые.

— Ты знаешь, о чем я подумала? — Лена дернула плечами. — Ты слишком изменился...

— Мы все изменились, Лена. — Он первый раз ее назвал по имени. — Но это не суть важно. Я о другом. Ведь Сергей обязательно спросит о нашей встрече.

— Ну и что?

— Нет, ничего. Вы, видимо, советовались насчет твоего приезда сюда.

Она только сейчас поняла, как бесполезен их разговор, потому не сразу нашлась, что ответить.

— Я не рассчитывала на это. Нельзя же, в конце концов, так мерзко думать о человеке, которого ты когда-то... — Лена не договорила.

Николай взял ее за плечи.

— Ради бога, только не слезы...

— Я ушла из дома. Можешь быть спокоен. Сергей ничего не спросит. А мне попросту некому рассказывать.

Николай упрямо посмотрел себе под ноги. Она ушла из дома. Это что, простое совпадение или продуманный шаг. Может быть, разумнее высказать сожаление.

Почему он молчит? Разве у него не было времени обдумать свой ответ. Он ждал этого разговора не один день. Он уже смирился, что его не будет, но все равно ждал. И вот теперь, когда сказано главное, он молчит.

Что с ним. Какое-то паническое состояние. Надо же что-то сказать, в чем-то усомниться. Нелепо же вот так стоять, таращить глаза на собственные ботинки и молчать.

— Ты напрасно расстраиваешься, это пройдет.

— Что пройдет. Обида, боль? Несправедливость, ощущение непоправимой беды, что именно, Николай Петрович?

— Ну, здесь я плохой советчик. Вам виднее. Просто в этой жизни проходит все.

— И чувства?

Николай вздрогнул. Внимательно посмотрел на голубятника, который по-прежнему маячил прямо перед ними, на помятый клюв водопроводной колонки. Ему не хотелось отвечать на этот вопрос. Но отвечать придется.

— Чувства? — переспросил Николай. — Нет, чувства, как люди, они не просто проходят, они умирают.

— И ничего не остается? — рассеянно пробормотала она. В ее голосе был испуг. — Ни-че-го?

— Ну, как тебе сказать, видимо, не совсем. Остаются мудрость и раны.

— Что мне делать?

Он увидел, как она сжала виски и теперь шла, старательно ставя ноги в самую середину тротуара.

— Что мне делать?

— Я не очень понимаю тебя... Разве возникает такой вопрос, и потом вы... — Он не договорил. — В общем, все уладится.

— Ты хотел сказать, — вы очень подходите друг другу?

Николай смущался, и то, что она заметила это смущение, заставило его еще сильнее покраснеть.

— Беда учит не только мужчин. — Лена заметила, как он покосился на часы. — Тебе надоел наш разговор?

— Напротив, я просто хорошо помню, электричка на Березняки уходит в семнадцать тридцать.

— И это все?

Николай грустно улыбнулся.

— Нет... Передай Сергею... А впрочем, ничего не передавай, а просто скажи, жизнь продолжается.



С перрона он ушел последним. Увидел, что собираются люди на следующий поезд, и только тогда ушел. Что ему взбрело в голову, распрошавшись там, у Старых ворот, вдруг кинуться вдогонку и битый час путаться среди вокзальной суеты. Ему не хотелось ни идти вдоль поезда, ни стоять у самого начала перрона, таким образом, чтобы вся бегущая, бранящаяся на ходу орава была оравой, проносила мимо. Нет, он прошел куда-то в середину, выбрал совершенно пустую скамью, сел да так и не поднимался до тех пор, пока поезд медленно не пополз прочь и размытые оконными стеклами очертания человеческих лиц не превратились в бесконечную цепь рябоватых пятен.

— Вот теперь все,— сказал Николай и, будто требуя согласия с этой мыслью, утвердительно кивнул головой и еще раз повторил: — Все.

Когда поезд тронулся и взгляды пассажиров невольно прилипли к окну, Лена машинально подняла голову и посмотрела на перрон. Троє парней кивали на уходящий поезд и о чем-то удивленно спорили. Пожилая дама открыла сумку и бросила туда платок, близоруко сощурилась и помахала рукой. Глаза у дамы были чуть навыкате и очень красивые. Мимо плыл длинный ряд белых скамеек. Посредине одной из них сидел человек. Человек устало смотрел на поезд и о чем-то думал. Лицо человека было видно лишь наполовину. Мимо бежали люди. Человек то пропадал, то снова появлялся.

Поезд пошел резвее. Лена ахнула и бросилась к окну:

— Николай!

Старушка, сидевшая напротив, участливо заморгала глазами и тихо сказала:

— Он, он, любезный. Прости его, господи.

Парень в выцветшей гимнастерке развел руками:

— Да я не о том, мама. При чем здесь он. Жизнь такова. Жизнь...

\* \* \*

Вот и вся история. А город у нас хороший. Будете ехать мимо, заглядывайте. На стройке полный порядок. В январе последнюю очередь сдаем. И люди у нас подходящие, нужные люди.